

Оскар Уайльд
Портрет Дориана Грея

Предисловие

Художник — тот, кто создает прекрасное.

Раскрыть творение и скрыть творца — вот к чему должно стремиться искусство.

Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики — один из видов автобиографии.

Те, кто в прекрасном видят уродливое, — люди безнравственные, но безнравственность не делает их привлекательными. Это порок.

Те, кто в прекрасном замечают какую-то красоту, — люди нравственные. Они не полностью безнадежны. Но лишь избранные видят в прекрасном одно — красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Книги или хорошо написаны, или плохо. Вот и все.

Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана[1], увидевшего себя в зеркале.

Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не видящего себя в зеркале.

Для художника нравственная жизнь человека — лишь одна из тем его творчества. Нравственность же искусства — в совершенном применении несовершенных средств. Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

У художника не может быть этических пристрастий. Этические пристрастия художника порождают непростительную манерность стиля.

У художника не может быть болезненного воображения. Художнику дозволено изображать всё.

Мысль и Слово для художника — средства Искусства.

Порок и Добродетель для художника — материал для Искусства.

Если говорить о форме, эталон для всех искусств — искусство музыканта. Если говорить о чувстве — искусство актера.

Всякое искусство поверхностно и в то же время символично. Те, кто пытаются проникнуть глубже поверхности, идут на риск. Те, кто пытаются разгадать символы, тоже рискуют.

Искусство — это зеркало, но отражает оно не жизнь, а зрителя.

Если произведение искусства вызывает споры, — значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.

Если критики расходятся во мнениях, — значит, художник остался верен самому себе.

Можно простить человеку создание полезной вещи, если только он ею не восторгается. Но того, кто создает бесполезную вещь, может оправдать лишь безмерное восхищение своим творением.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд

Студию наполняло пьянящее благоухание роз, а когда по деревьям сада пробежал легкий летний ветерок, через открытую дверь доносился густой запах сирени, перемежаемый с более нежным ароматом розовых цветков боярышника.

На покрытом персидскими чепраками диване лежал лорд Генри Уоттон, по обыкновению курая одну за другой бесчисленные папиросы; через проем двери ему был виден объятый желтым пламенем цветения куст раkitника, сплошь увешанный длинными, вздрагивающими при каждом движении воздуха кистями душистых, как мед, цветков, золотым дождем струящихся с тонких веток, гнувшихся под тяжестью этого сверкающего великолепия; время от времени по длинным шелковым занавесям, закрывающим огромных размеров окно, проносились причудливые тени пролетающих птиц, на мгновение создавая иллюзию японских рисунков, и мысли лорда Генри обращались к желтолицым художникам Токио, неустанно стремящимся передать впечатление стремительного движения средствами искусства, по природе своей статичного. Монотонное гудение пчел, с трудом проталкивающих через высокую нескошенную траву или с неустанной настойчивостью кружащих над осыпанными золотой пылью цветками буйно разросшейся жимолости, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона напоминал непрерывно звучащую басовую ноту отдаленного органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет во весь рост молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, на небольшом от него расстоянии, сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение за несколько лет до этого так взволновало общество и породило массу самых невероятных предположений.

Художник смотрел на искусно воссозданный им на полотне образ грациозного, прекрасного юноши, и довольная улыбка не сходила с его лица. Затем он внезапно вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, будто стараясь удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь пробудиться.

— Это лучшее твоё произведение, Бэзил, самое замечательное из всего, что ты до сих пор написал, — томно проговорил лорд Генри. — Тебе обязательно нужно послать его в следующем году на выставку в Гроувенор[2]. В Академию не стоит: у них слишком много полотен и слишком мало вкуса. Когда ни придешь туда, там или столько людей, что не увидишь картин, — и это ужасно, — или же столько картин, что не увидишь людей, а это еще хуже. Нет, только в Гроувенор, и никуда больше.

— А я вообще не собираюсь его выставлять, — отозвался художник, откинув назад голову в свойственной ему странной манере, над которой, бывало, подтрунивали его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю.

Подняв брови, лорд Генри удивленно взглянул на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми тонкими кольцами поднимающийся от его щедро пропитанной опиумом папиросы.

— Никуда не пошлешь? Но почему, мой дорогой? Что за причина? Станный вы народ, художники! Из кожи вон лезете, чтобы добиться известности, но, как только она приходит, не ставите ее ни в грош. Право же, это глупо! Конечно, плохо, когда о тебе говорят на каждом углу, но еще хуже, когда о тебе вовсе не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, намного выше всех молодых художников Англии, а у старых вызвал бы чувство зависти, если старики вообще способны испытывать какие-то чувства.

— Знаю, ты станешь надо мной смеяться, — отозвался художник, — но я и в самом деле не могу его выставлять... Слишком много я вложил в него самого себя.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

— Ну вот, я так и знал, что ты будешь смеяться, и тем не менее это правда.

— Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я и не подозревал в тебе такого самомнения. Я не вижу ни малейшего сходства между тобой, крепко скроенным мужчиной с крупными, волевыми чертами лица, с черными, как смоль, волосами, и этим юным Адонисом, словно сотворенным из точеной слоновой кости и лепестков роз. Пойми, дорогой Бэзил, он — Нарцисс, а ты... Ну конечно, лицо у тебя интеллектуальное, и все такое. Но красота, подлинная красота, кончается там, где начинается интеллектуальность. Интеллект уже сам по себе аномалия, ибо нарушает гармонию лица. Стоит человеку сесть и о чем-то задуматься, как у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или с лицом происходит еще что-нибудь ужасное. Взгляни-ка на выдающихся личностей любой ученой профессии — до чего же они уродливы! Исключение составляют, пожалуй, одни лишь церковники, но они ведь никогда не утруждают своих мозгов. Восьмидесятилетний епископ продолжает твердить те же истины, которым его научили, когда он был восемнадцатилетним юнцом, поэтому неудивительно, что на него всегда приятно смотреть. Твой таинственный юный друг, чье имя, кстати, ты мне никогда не называл, но чей портрет меня так завораживает, вряд ли

когда-нибудь о чем-либо думает. Я совершенно в этом уверен. Он безмозглое, очаровательное существо, на которое всегда было бы приятно смотреть зимой, когда нет цветов, и летом, когда захочется остудить разгоряченный мозг. Не льсти себе, Бэзил: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не так понял, Гарри, — ответил художник. — Разумеется, я на него не похож, и я это отлично знаю. Да мне бы и не хотелось быть на него похожим. Ты пожимаешь плечами? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или интеллектуально превосходящих других, есть что-то роковое; это своего рода фатум, который на протяжении всей истории словно преследует королей, вынуждая их делать неверные шаги. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всё лучшее достается глупцам и уродам. Они могут преспокойно сидеть и смотреть, как из кожи вон лезут другие. Пусть им не дано почувствовать торжество побед, зато они избавлены от горечи поражений. Они живут, как следовало бы жить нам всем, — безмятежно, ничем не интересуясь, оставаясь ко всему равнодушными. Они никому не причиняют зла, и у них нет врагов... Твои знатность и богатство, Гарри; мой интеллект и талант, какими бы скромными они ни были; красота Дориана Грея — за все эти дары богов нам когда-нибудь придется расплачиваться, расплачиваться самыми ужасными страданиями.

— Дориан Грей? Вот, значит, как его зовут, — произнес лорд Генри, подходя к Холлуорду.

— Да. Впрочем, я не собирался называть его имени...

— Вот как? И почему же?

— Как бы тебе объяснить... Если мне кто-то пришелся по сердцу, я никогда никому не говорю, как его зовут. Это означало бы делиться им с другими людьми. И знаешь, мне по душе иметь от других секреты. Это, пожалуй, единственное, что может в наши дни сделать жизнь увлекательной и загадочной. Самая обычная вещь начинает казаться интригующей, если скрываешь ее от людей. Теперь, уезжая из Лондона, я никогда не говорю своим, куда еду. А говорил бы, так терялось бы все удовольствие. Нелепая прихоть, спору нет, но она почему-то вносит в жизнь человека изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что все это ужасно несерьезно, не так ли?

— Вовсе нет, — возразил лорд Генри. — Вовсе нет, дорогой мой Бэзил! Ты, кажется, забываешь, что я человек женатый, а главная прелесть брака заключается в том, что оба супруга вынуждены постоянно друг друга обманывать. Я, например, никогда не знаю, где в данный момент моя жена, а моя жена не знает, чем занимаюсь я. При встречах, — а мы иногда с ней встречаемся, когда обедаем вместе в гостях или бываем с визитом у герцога, — мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жене удается это намного лучше, чем мне. Она никогда не путается в датах, а со мной это частенько бывает. Впрочем, если ей и случается меня уличить, никаких сцен она не устраивает. Иной раз я даже жалею об этом, но она только подшучивает надо мной.

— Мне не нравится, когда ты так говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. — Уверен, что на самом деле ты образцовый муж, хоть и стыдишься своей добродетельности. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — просто поза.

— Да, быть естественным — поза, и поза эта ужасно всех раздражает, — воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и сели на бамбуковую скамью в тени высокого лаврового куста. По блестящим лавровым листьям скользили солнечные зайчики. В траве легонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время они сидели молча. Потом лорд Генри взглянул на часы.

— Боюсь, Бэзил, мне пора идти, — сказал он. — Но прежде чем я уйду, ты должен ответить на мой вопрос.

— Какой еще вопрос? — спросил художник, не поднимая от земли глаз.

— Ты прекрасно знаешь какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Хорошо, я могу напомнить. Объясни, будь любезен, почему ты решил не выставлять портрет Дориана Грея. Только я хочу знать правду.

— Я и сказал тебе правду.

— Нет, ты не назвал настоящей причины. Ты сказал, что в этом портрете слишком много от тебя самого. Но это же несерьезно!

— Пойми, Гарри, — Холлуорд посмотрел лорду Генри прямо в глаза. — Любой портрет, если его пишешь вкладывая всю душу, является, по сути, портретом самого художника, а не того, кто ему позировал.

Натурщик — это всего лишь частность, случайность. Не его, а самого себя раскрывает художник в покрытом красками полотне. Так что причина, по которой я не хочу выставлять картину, заключается в том, что я произвольно раскрыл в ней тайну своей души.

Лорд Генри рассмеялся.

— И в чем же она заключается? — спросил он.

— Попытаюсь тебе объяснить, — произнес Холлуорд с выражением некоторого замешательства на лице.

— Я весь внимание, Бэзил, — проговорил лорд Генри, взглянув на своего друга.

— Да и рассказывать-то почти нечего, Гарри, — ответил художник. — Боюсь, ты мало что поймешь в этой истории. А быть может, и вовсе не поверишь мне.

Лорд Генри усмехнулся, затем наклонился и, сорвав в траве маргаритку, стал разглядывать ее розоватые лепестки.

— Не сомневаюсь, что всё пойму, — наконец отозвался он, внимательно всматриваясь в золотистый диск сердцевины цветка. — А поверить я могу чему угодно, и тем охотнее, чем история невероятнее.

Порывом ветра сорвало с деревьев несколько цветков; тяжелые кисти сирени, словно сотканые из звездочек, медленно раскачивались в наполненном истомой воздухе. Где-то у стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью, подвешенной на прозрачных коричневых крылышках, промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди у Бэзила. Что же, интересно, собирается рассказать ему его друг?

— Ну так вот, — начал художник после продолжительного молчания. — Месяца два назад я побывал на званом вечере у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, приходится время от времени появляться в обществе — хотя бы для того, чтобы люди не думали, будто мы какие-то дикари. Ты сам мне однажды сказал, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека. Ну вот, после того, как я минут десять беседовал с нудными академиками и разряженными в пух и прах престарелыми матронами, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Полуобернувшись, я увидел Дориана Грея — до этого я его не замечал. Взгляды наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то необъяснимый страх. Я сразу понял: передо мною человек настолько обаятельный, что, если я поддаюсь исходящему от него очарованию, его личность поглотит меня целиком — всю мою душу и даже мое искусство. А я не хотел посторонних влияний в своей жизни. Ты ведь сам знаешь, Генри, что я по природе независимый человек. Я всегда был себе хозяин — во всяком случае, до тех пор, пока не встретился с Дорианом Греем. Ну а тут... даже не знаю, как объяснить тебе. Внутренний голос, казалось, предупреждал меня, что я накануне какого-то невероятного перелома в жизни. У меня было смутное предчувствие, что судьба готовит мне беспредельные радости и столь же острые разочарования. Мне стало жутко, и я повернулся к двери, собираясь уйти. Сделал я это бессознательно, из какого-то малодушия. По совести говоря, попытка сбежать не делает мне чести.

— Совесть и малодушие, в сущности, одно и то же, Бэзил. Просто «совесть» звучит респектабельнее, вот и все.

— Я так не думаю, Гарри, да и ты, я уверен, тоже... Словом, не знаю, из каких побуждений, — быть может, из гордости, так как я всегда был человеком гордым, — но я стал пробираться к выходу. У двери я, разумеется, наткнулся на леди Брэндон. «Уж не собираетесь ли вы так рано от нас сбежать, мистер Холлуорд?» — пронзительно прокричала она. Ты ведь сам знаешь, какой у нее голос.

— Да уж знаю! Она во всём напоминает павлина, за исключением, естественно, его красоты, — отозвался лорд Генри, теребя маргаритку своими длинными нервными пальцами.

— Мне так и не удалось от нее отделаться. Она повела представлять меня сначала высочайшим особам, а затем сановникам в орденах Подвязки и престарелым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми, как у попугаев, носами. Она им рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя встречались мы с ней до этого лишь однажды. Как видно, ей взбрело в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Насколько я помню, одна из моих картин в то время имела большой успех, — во всяком случае, о ней писали в грошовых газетах, а в наш девятнадцатый век это все равно что патент на бессмертие. И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, чей облик вызвал в моей душе столь странное волнение. Мы были совсем рядом, чуть ли не касались друг друга. Взгляды наши встретились вновь. И тут я безрассудно попросил леди Брэндон представить меня ему. Хотя, возможно, это и не было безрассудством, а просто чем-то неизбежным. Мы бы заговорили друг с другом, даже если бы нас и не познакомили. Я в этом уверен. То же самое сказал мне потом и Дориан. Он, точно так же, как я, не сомневался, что нас с ним свела сама судьба.

— И как же леди Брэндон отозвалась о твоём необыкновенном молодом человеке? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю её манеру давать беглую характеристику каждому своему гостю. Помню, однажды она решила меня представить какому-то свирепому на вид краснолицему старцу, сплошь увешанному орденами и лентами, и, пока мы к нему приближались, она трагическим шепотом, который, несомненно, слышала вся гостиная, поведала мне на ухо ошеломляющие подробности его биографии. Мне ничего не оставалось, как сбежать от неё. Я предпочитаю сам, без посторонней помощи, составлять своё мнение о людях. А леди Брэндон характеризует своих гостей точь-в-точь как аукционист продаваемые им с молотка вещи. Она либо выкладывает о них всю подноготную, либо рассказывает о них что угодно, кроме того, что человеку хотелось бы знать.

— Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж к ней суров, Гарри, — равнодушно произнес Холлуорд.

— Мой дорогой, она стремилась создать у себя «салон», а на деле получился ресторан. Так почему я должен восхищаться ею? Ну, бог с ней. Итак, что же она сказала о мистере Дориане Грее?

— Ну, что-то вроде: «Очаровательный мальчик... мы с его бедной мамой были неразлучны... Совершенно забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах да, играет на фортепьяно... Или на скрипке... не так ли, дорогой мистер Грей?». Мы с ним не смогли удержаться от смеха и сразу почувствовали себя друзьями.

— Не так уж плохо, если дружба начинается со смеха, но ещё лучше, если она смехом же и заканчивается, — заметил лорд Генри, срывая ещё одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — произнес он негромко. — Да и что такое враждебность, тебе неизвестно. Ты ко всем относишься одинаково хорошо, а это значит, тебе все одинаково безразлично.

— Ну уж это несправедливо с твоей стороны! — воскликнул лорд Генри; сдвинув шляпу на затылок, он не отрываясь смотрел на проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба легкие облачка, похожие на растрепавшиеся мотки белой шелковой пряжи. — Чудовищно несправедливо! Для меня люди вовсе не одинаковы. В близкие друзья я выбираю себе людей с хорошей внешностью, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только с мозгами. Тщательнее всего следует выбирать себе врагов. Среди моих недругов нет глупцов. Все они — люди мыслящие и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что я тщеславен? Что ж, этого я отрицать не стану.

— Трудно с тобой не согласиться, Гарри. Хотя, если пользоваться твоей классификацией, получается, что я тебе просто приятель?

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, нежели «просто приятель».

— Но гораздо меньше, чем друг? Нечто вроде брата, следует полагать?

— Отнюдь, Бэзил! К братьям я отношусь без пылкой любви. Мой старший брат решительно отказывается умирать, а младшие только это и делают...[3]

— Гарри! — остановил его Холлуорд, нахмутив брови.

— Мой дорогой друг, я ведь говорю не всерьёз. В то же время не стану скрывать, что терпеть не могу своей родни. Это происходит, надо полагать, оттого, что все мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я, например, глубоко сочувствую неимущим слоям населения Англии, которые возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Люди низших сословий считают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть исключительно их привилегией, и, если кто-либо из нас страдает этими же пороками, он тем самым как бы посягает на их права. Когда бедняга Саутуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки безграничным. Между тем я не мог бы поручиться за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет праведный образ жизни.

— Абсолютно с тобой не согласен, Гарри! Более того, ты и сам во всю эту чушь не веришь.

Лорд Генри провел рукой по своей клинообразной каштановой бородке и несколько раз стукнул тростью из черного дерева, с кисточкой на рукоятке, по носку лакированного ботинка.

— Какой же ты все-таки типичный англичанин, Бэзил! Вот уже во второй раз я слышу от тебя подобные рассуждения. Попробуй только поделиться какой-нибудь мыслью с истинным англичанином — а это, надо сказать, всегда большая неосторожность — так он и не подумает разобраться, верна эта мысль или не верна. Для него важнее другое: убежден ли ты в том, что говоришь, или нет. А между тем важна сама мысль, независимо от того, насколько искривлен человек, ее высказавший. Более того, ценность любой мысли тем выше, чем менее искренен тот, у кого она появилась, ибо в этом случае она не отражает его личных интересов, желаний и предрассудков. Впрочем, не бойся — я не собираюсь дискутировать на политические, социологические или

метафизические темы. Люди меня интересуют больше, чем принципы, а люди без принципов меня попросту восхищают. Поговорим лучше о Дориане Грее. Часто ли вы встречаетесь?

— Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Мне это крайне необходимо.

— Неужели? А я-то думал, что тебе необходимо только твое искусство.

— Дориан теперь и есть для меня все мое искусство, — как-то по-особенному серьезно произнес художник. — Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что во всей истории человечества были лишь два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление нового образа в искусстве. Лицо Дориана Грея станет для меня когда-нибудь тем, чем для венецианцев[4] было изобретение масляных красок или для греческой скульптуры лик Антиноя[5]. Я ведь не просто пишу Дориана красками, или рисую карандашом, или делаю эскизы. Нет, дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Не стану убеждать тебя, что не доволен тем, как мне удалось изобразить его, или что такую красоту, какой наделен он, невозможно отобразить средствами искусства. Это было бы неправдой. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство, и я прекрасно отдаю себе отчет: все то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это мои лучшие работы. Но в то же время — даже не знаю, как это тебе объяснить и поймешь ли ты меня — личность Дориана дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла для меня новую манеру письма. Я вижу вещи в ином свете и воспринимаю их по-иному. Я теперь могу воссоздавать жизнь такими средствами искусства, которые прежде были мне недоступны. «Мечты о форме в век рассудка», — кто это сказал? Не помню, но именно такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одна лишь возможность видеть этого мальчика — а в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать, — так вот, одна лишь возможность видеть его... ах, можешь ли ты себе представить, что это для меня значит?! Сам того не подозревая, он определил для меня очертания какой-то новой школы живописи — школы, которая может сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония тела и духа — как это много значит! В безумии своем мы разлучили их и выдумали реализм с его вульгарностью и идеализм с его пустотой. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня значит Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему она получилась такой? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Он каким-то неуловимым образом влиял на меня, и поэтому впервые в жизни я смог увидеть в самом обыкновенном лесе то чудо, которое я всегда искал и которое всегда от меня ускользало.

— Но это же потрясающе, Бэзил! Я непременно должен увидеть Дориана Грея!

Холлуорд встал со скамейки и принялся ходить взад и вперед по лужайке. Через некоторое время он снова подошел к лорду Генри.

— Пойми, Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня — своего рода муза. Ты скорее всего не увидел бы в нем ничего, а я вижу в нем всё. Его незримое присутствие в тех моих работах, где он не изображен, чувствуется, пожалуй, еще сильнее, чем собственно в его портретах. Как я уже тебе говорил, он словно подсказывает мне новую манеру живописи. Я вижу Дориана в изгибах тех или иных линий, в нежной прелести цветовых оттенков. Вот в чем все дело.

— Но почему же тогда ты не выставляешь его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что помимо своей воли я вложил в этот портрет то непостижимое благоговение, которое художник часто испытывает перед своей моделью, — чувство, в котором я, разумеется, ни за что бы не признался Дориану. Он ничего об этом не знает. И никогда не узнает. Но другие могут догадаться об этом, а я не хочу обнажать свою душу перед их пустыми, назойливо-любопытными взглядами. Я никогда не позволю им рассматривать свое сердце под микроскопом. В этом портрете слишком много меня самого, понимаешь, Гарри? Слишком много.

— А вот поэты — те не так щепетильны, как ты. Они прекрасно знают, как выгодно писать о любви, ибо на нее всегда спрос. В наше время разбитое сердце может выдержать сколько угодно изданий.

— И я презираю их за это! — воскликнул Холлуорд. — Художник, создавая прекрасное произведение искусства, не должен приносить в него ничего из своей личной жизни. В наш век люди привыкли относиться к творению художника, как к своего рода автобиографии. Мы утратили абстрактное чувство прекрасного. Но когда-нибудь я покажу миру, что это такое, и именно по этой причине мир никогда не увидит портрета Дориана Грея.

— Мне кажется, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобою спорить. Спорят только те, кто не блещет умом. Скажи, Дориан Грей к тебе очень привязан?

Художник на некоторое время задумался.

— Думаю, Дориану нравится быть со мной, — ответил он наконец. — Даже уверен в этом. И не удивительно: я ему постоянно всячески льщу. Не могу понять почему, но мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которых говорить не следовало бы: я всегда впоследствии сожалею о том, что их сказал. Как правило, он ведет себя со мной очень мило; мы сидим в моей студии и беседуем на тысячи разных тем. Но порой он бывает ужасно бессердечен, ему словно доставляет удовольствие мучить меня. И тогда, Гарри, у меня возникает ощущение, что я отдаю всю свою душу человеку, для которого она все равно что цветок в петлице — украшение, тешащее его тщеславие, безделушка, которая может наскучить за один летний день.

— Летние дни длинные, Бэзил, — вполголоса пробормотал лорд Генри. — И, кто знает, может быть, ты пресытишься вашей дружбой даже раньше, чем Дориан. Как это ни грустно сознавать, но Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы и тщимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим опираться хоть на что-нибудь основательное, прочное и поэтому начинаем голову массой ненужных фактов и всяким подобным хламом в наивной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, информированный человек — вот каков современный идеал. Ну а мозг такого высокообразованного, информированного человека — это нечто ужасное! Он подобен антикварной лавке, набитой никчемным пыльным старьем, где все вещи оценены выше своей настоящей стоимости... Да-а, Бэзил, я думаю, ты пресытишься первый, вот увидишь. В один прекрасный день ты согласишься на своего друга — и он тебе покажется уже не такой интересной моделью, тебя не устроит тон его кожи или еще что-нибудь. В душе ты станешь упрекать его и самым серьезным образом начнешь думать, что он в чем-то виноват перед тобой. А когда он придет к тебе в следующий раз, ты будешь совершенно холоден и равнодушен. Мне очень жаль, что так будет, ибо ты и сам станешь другим. То, что ты мне сейчас рассказал, сопоставимо со своего рода любовным романом — романом, так сказать, на почве искусства. А самое печальное для человека, пережившего роман, — это то, что он становится таким неромантичным.

— Не говори так, Гарри. Дориан Грей до конца моих дней будет занимать особое место в моей жизни. Тебе не понять моих чувств: ты ведь так непостоянен.

— Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Те, кто верен в любви, знают ее лишь с банальной стороны. Драматическую же сторону узнают только те, кто в любви неверен.

Достав изящный серебряный портсигар, лорд Генри чиркнул спичкой и закурил папиросу с притворно скромным и в то же время самодовольным видом человека, сумевшего выразить в одной фразе всю житейскую мудрость мира.

В густой массе блестящих зеленых листьев плюща возились, чирикая, воробьи; голубые тени облаков, словно стаи несущихся наперегонки ласточек, стремительно скользили по траве. «Как хорошо в саду! И до чего восхитительно интересны чувства людей — гораздо интереснее их мыслей! — подумал лорд Генри. — Твоя собственная душа и страсти твоих друзей — что может быть изумительней этого?!»

Он с тихим удовольствием подумал о том, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. Пойди он к ней, ему непременно пришлось бы встретиться с лордом Гудбоди, и весь разговор только бы и вертелся вокруг образцовых столовых да ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. Любопытно, что представители каждого общественного слоя считают наиболее важными как раз те добродетели, без которых они сами прекрасно обходятся: так, богатые проповедуют бережливость, а бездельники любят распространяться о том, как возвеличивает человека труд... Слава Богу, ему не пришлось выслушивать всего этого!

При мысли о тетушке его вдруг осенило, и он, повернувшись к Холлуорду, воскликнул:

— Послушай, Бэзил, я, кажется, вспомнил...

— О чем?

— Я вспомнил, где раньше слышал имя Дориана Грея.

— И где же? — спросил Холлуорд, сдвинув брови.

— Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она мне сказала, что обнаружила одного замечательного молодого человека по имени Дориан Грей, который взялся помогать ей в Ист-Энде[6]. Заметь, она и не заикнулась о его привлекательной внешности. Женщины — во всяком случае, наиболее добродетельные из них — не придают такого уж значения мужской красоте. Тетушка лишь упомянула, что он юноша серьезный и у него прекрасная душа, так что я тут же представил себе этакого субъекта в очках, с прямыми, зализанными волосами, веснушчатой физиономией и ногами огромного размера. Жаль, я тогда не знал, что он твой друг.

— И слава Богу, что не знал, Гарри.

— Это почему же?

— Я не хочу, чтобы вы с ним знакомились.

— Ты не хочешь, чтобы мы знакомились?!

— Да, не хочу.

— Сэр, вас ожидает в студии мистер Дориан Грей, — доложил, выйдя в сад, дворецкий.

— Ну вот, теперь ты просто вынужден будешь нас познакомить! — со смехом воскликнул лорд Генри.

Художник повернулся к дворецкому, который замер в почтительной позе, жмурясь от солнца, и сказал:

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я буду сию минуту.

Дворецкий поклонился и направился по дорожке к дому. Холлуорд взглянул на лорда Генри и произнес:

— Дориан Грей — мой ближайший друг. У него чистая, прекрасная душа: твоя тетушка в этом отношении совершенно права. Так не вздумай же испортить его, Гарри! И не пытайся влиять на него. Твое влияние было бы губительным для него. Мир велик, в нем много разных замечательных людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что в нем теперь есть. Мое будущее как художника полностью зависит от Дориана. Помни, Гарри, ты не должен обмануть моего доверия!

Он произносил слова очень медленно — казалось, они исторгались из него помимо его воли.

— Что за глупости ты говоришь! — с улыбкой проговорил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, чуть ли не насильно повлек его к дому.

Глава II

Войдя в студию, они увидели Дориана Грея за пианино, спиной к ним; он перелистывал альбом с «Лесными картинками» Шумана.

— Что за прелесть! Я хотел бы разучить эту вещь, — произнес он, не оборачиваясь. — Вы должны мне дать «Лесные картинки», Бэзил.

— Все зависит от того, как вы будете сегодня позировать, Дориан.

— Мне надоело позировать, и мне не нужен мой портрет в натуральную величину, — проговорил юноша капризно, затем, повернувшись на сиденье, увидел лорда Генри и поспешно вскочил, порозовев от смущения. — Прошу прощения, Бэзил, я не знал, что вы не один.

— Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по Оксфорду. Я как раз говорил ему, насколько хорошо вы позируете, но вы своими словами всё испортили.

— Зато не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. — Я о вас много слышал от своей тетушки. Вы ее любитец, но в то же время, боюсь, и ее жертва.

— Как раз в данный момент я у леди Агаты в немилости, — отозвался Дориан с забавным выражением раскаяния на лице. — Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на благотворительный концерт в один из клубов Уайтчепела[7]. Мы с ней должны были играть в четыре руки, — кажется, целых три дуэта, — но у меня это совершенно вылетело из головы. Не знаю, что она мне теперь скажет при встрече. Даже боюсь показаться ей на глаза.

— Пустяки, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вас не было на концерте, не так уж и важно. Публика, скорее всего, и без того подумала, что был исполнен дуэт, — ведь когда тетя Агата садится за рояль, она поднимает столько шума, что с лихвой хватает на двоих.

— Ну, это несправедливо по отношению к ней, да и меня вы не пощадили, — сказал Дориан, рассмеявшись.

Лорд Генри не отрывал от Дориана взгляда. Да, этот юноша и в самом деле поразительно красив, думал он, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. В его лице было нечто такое, что сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Было очевидно, что жизнь еще не запятнала этой молодой души. Ничего удивительного, что Бэзил Холлуорд боготворил Дориана.

— Разве позволительно такому человеку, как вы, заниматься благотворительной деятельностью? Нет, мистер Грей, вы для этого слишком очаровательны, — проговорил лорд Генри и, развалившись на диване, достал

свой портсигар.

Художник тем временем приготовил кисти и принялся смешивать краски на палитре. Он хмурился и выглядел явно встревоженным, а когда лорд Генри обратился к Дориану, бросил на него быстрый взгляд и после минутного колебания произнес:

— Гарри, мне хотелось бы сегодня закончить портрет. Тебе не покажется слишком грубым с моей стороны, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри с улыбкой взглянул на Дориана:

— Мне лучше уйти, мистер Грей?

— Прошу вас, лорд Генри, не уходите! Сегодня Бэзил, кажется, не в духе, а я ужасно не люблю с ним оставаться наедине, когда он такой. К тому же мне бы хотелось, чтобы вы объяснили, почему я не должен заниматься благотворительной деятельностью.

— Уж не знаю, стоит ли начинать об этом разговор, мистер Грей. Это настолько скучная тема, что мне пришлось бы говорить слишком серьезно. Но коль вы просите меня остаться, я, разумеется, не уйду. Надеюсь, ты не возражаешь, Бэзил? Ведь ты сам мне не раз говорил, что любишь, когда кто-нибудь отвлекает разговором тех, кто тебе позирует.

Холлуорд закусил губу.

— Что ж, оставайся, раз он этого хочет. Прихоти Дориана — закон для кого угодно, кроме него самого.

Лорд Генри протянул руку за шляпой и перчатками.

— Трудно не уступить твоим настойчивым уговорам остаться, Бэзил, но, к сожалению, я должен идти. Мне нужно встретиться с одним человеком в «Орлеане». До свидания, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. В пять часов я почти всегда дома. Но когда соберетесь ко мне, лучше предупредите запиской: было бы очень жаль, если б мы разминулись.

— Бэзил, — воскликнул Дориан Грей, — если лорд Генри Уоттон уйдет, я тоже уйду! От вас, пока вы работаете, и слова не услышишь. Мне страшно скучно стоять на подиуме с неизменно радостным выражением на лице. Попросите его остаться. Я настаиваю на этом.

— В самом деле, оставайся, Гарри. И Дориану будет приятно, и меня ты очень обяжешь, — проговорил Холлуорд, не отводя от картины пристального взгляда. — Я действительно никогда не разговариваю и никого не слушаю, когда пишу, так что мои бедные натурщики, должно быть, ужасно скучают. Прошу тебя, не уходи.

— А как же тот человек в «Орлеане»?

Художник усмехнулся:

— Думаю, у тебя не будет с этим проблем. Так что присаживайся, Гарри. Ну а вы, Дориан, становитесь на подиум и старайтесь поменьше двигаться. Только, ради Бога, не обращайтесь внимания на то, что будет говорить лорд Генри: он оказывает самое дурное влияние на всех своих друзей, за исключением, разумеется, меня.

Дориан Грей с видом юного эллинского мученика взошел на помост и, переглянувшись с лордом Генри, сразу же очаровавшим его, состроил недовольную гримасу. До чего же этот молодой аристократ не похож на Бэзила! Какой между ними контраст! И что за чудесный голос у лорда Генри! Не дав паузе затянуться, Дориан спросил:

— Лорд Генри, вы и в самом деле так дурно влияете на людей? Бэзил не преувеличивает?

— А хорошее влияние в принципе невозможно, мистер Грей. Любое влияние безнравственно — безнравственно чисто с научной точки зрения.

— Но почему?

— Потому что оказать влияние на другого — значит вложить в него свою душу. И тогда человек начинает думать чужой головой, жить чужими страстями. Добродетели у него уже не свои, да и грехи — если вообще существует такое понятие, — он заимствует у другого. Он становится перепевом чужой мелодии, актером, исполняющим роль, не для него предназначенную. Ведь главная цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. Между тем в наше время люди стали бояться самих себя. Они забыли о своем высшем долге — долге перед собой. О да, они проявляют милосердие к своим ближним, они оденут нищего и накормят голодного. Но их собственные души обнажены и нуждаются в пище. Мы утратили мужество. А может быть, у нас его никогда и не было. Боязнь общественного мнения (а на этом зиждется наша мораль) и страх перед Богом (в этом суть нашей религии) — вот те две силы, что движут нами. И все же...

— Будьте добры, Дориан, поверните голову чуть-чуть вправо, — проговорил художник, настолько

поглощенный своей работой, что его сознание отметило лишь одно — на лице юноши появилось выражение, какого он до сих пор никогда не видел.

— И все же, — низким, мелодичным голосом продолжал лорд Генри, сопровождая свои слова плавными, грациозными жестами (эта особенность была свойственна ему всю жизнь — даже тогда, когда он еще учился в Итоне), — все же я убежден, что, если бы каждый из нас жил по-настоящему полной жизнью, давая выход всем своим чувствам, не стесняясь выражать все свои мысли и доводя до реального воплощения все свои мечты, — человечество снова узнало бы, что такое радость бытия, была бы забыта мрачная эпоха средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, к чему-то еще более прекрасному и совершенному. Но и самые смелые из нас не отваживаются быть самими собой. Самоотречение, этот трагический пережиток, дошедший до нас с тех диких времен, всем нам порядочно омрачает жизнь. И мы постоянно расплачиваемся за то, что отказываем себе столь во многом. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. Только согрешив, можно избавиться от соблазна совершить грех, ибо осуществление желаний — это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о полученном удовольствии или же сладостное раскаяние. Единственный способ избавиться от искушения — поддаться ему. А если пытаться ему противиться, то вся душа истомится желанием изведать то, на что она же сама и наложила запрет, отнеся подобного рода желания к чему-то чудовищному и преступному. Какой-то мудрец сказал, что величайшие события в мире происходят прежде всего в голове человека. Я только могу добавить, что величайшие преступления также совершаются в голове у людей. Да ведь и вы, мистер Грей, вы сами в пору розовой юности и даже раньше, в годы зеленого отрочества, были подвластны страстям, порождавшим в вас страх, вас одолевали мысли и желания, повергавшие вас в трепет, а по ночам преследовали сны, одно воспоминание о которых до сих пор заставляет вас краснеть от стыда...

— Погодите! — умоляющим голосом воскликнул Дориан Грей. — Прошу вас, остановитесь! Вы меня совсем сбили с толку, и мне трудно вам что-либо возразить. Но я чувствую: в ваших рассуждениях что-то не так — только вот что, я не знаю. А сейчас — не говорите больше ничего. Дайте мне время подумать. Или, вернее, дайте мне возможность не думать об этом.

Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, как под влиянием услышанного в нем пробуждаются какие-то совершенно новые мысли и чувства, но в то же время ему казалось, что они зародились в нем независимо ни от кого. Сказанные другом Бэзила слова, — а он, несомненно, произнес их просто так, между прочим, придав им намеренно парадоксальную форму, — задели в Дориане какую-то тайную струнку, которой до этого никто не касался, и у него было ощущение, словно она туго натянулась и как-то странно, толчками, вибрирует.

Подобным образом его могла волновать только музыка, всегда будившая в нем смутное беспокойство. Но музыка — это ведь не членораздельная речь. Музыка не созидает в нас новых миров, она лишь создает новый хаос. А тут ведь прозвучали слова! Ах, слова, слова, безобидные слова — но до чего же они на самом деле чудовищны! До чего конкретны, откровенны и жестоки! От них никуда не денешься. И вместе с тем — какая в них неуловимая магия! Они обладают удивительной способностью придавать пластичную форму вещам абсолютно бесформенным, в них есть своя музыка — столь же сладостная, как звуки виолы или лютни. Всего лишь слова! Но есть на свете что-нибудь реальнее и весомее слов?

Конечно, в ранней юности Дориан не понимал очень многих вещей. Но теперь, когда они перестали быть для него загадкой, жизнь вдруг засверкала перед ним ослепительно яркими красками. Ему стало казаться, будто он идет среди огненных языков бушующего пламени. И как он этого не замечал до сих пор?

Лорд Генри наблюдал за ним с едва заметной, чуть иронической улыбкой. Он знал, что сейчас лучше всего помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и то впечатление, какое произвели на юношу сказанные им слова, немало его удивило. Ему вспомнилась одна книга, прочитанная им лет в шестнадцать и открывшая ему много такого, чего он раньше не знал, — так, быть может, с Дорианом Греем происходит нечто подобное? Неужели стрела, пущенная им наугад, угодила в цель? До чего же все-таки очарователен этот юноша!

Холлуорд между тем увлеченно работал, кладя мазки в характерной для него и восхищавшей столь многих напористой манере, но в то же время с тем изяществом и изысканной утонченностью, которые всегда являлись — по крайней мере, в искусстве — принадлежностью подлинного таланта. Он совершенно не замечал затянувшегося молчания.

— Бэзил, я больше не в силах стоять! — воскликнул вдруг Дориан. — Я хочу выйти в сад и посидеть на свежем воздухе. Здесь просто невозможно дышать.

— Простите, мой друг! Когда я работаю, я обо всем забываю. А вы, между прочим, сегодня позируете

как никогда хорошо — почти ни разу не шевельнулись. Мне наконец удалось поймать то выражение, которое я так долго искал: эти полуоткрытые губы и этот блеск в глазах... Не знаю, что вам такого наговорил Гарри, но ему каким-то чудом удалось вызвать на вашем лице это замечательное выражение. Небось делал вам комплименты? Но не верьте ни единому его слову!

— Нет, никаких комплиментов сэр Генри мне не делал. Возможно, именно поэтому я не поверил ни единому его слову.

— Вы ведь отлично знаете, что поверили всему мною сказанному, — проговорил лорд Генри, глядя на Дориана своими томными, мечтательными глазами. — Пожалуй, я тоже выйду в сад, в студии невыносимо душно. Бэзил, пусть нам вынесут туда попить — что-нибудь охлажденное, со льдом, и желательнее, чтобы там плавало по клубничке.

— Хорошо, Гарри. Нажми-ка на звонок рядом с собой, и, когда явится Паркер, я ему все это закажу. К вам я присоединюсь попозже, мне еще нужно немного подработать фон. Только не слишком задерживай Дориана. Мне сегодня на редкость хорошо пишется. Портрет этот обещает стать моим шедевром. Да и сейчас он уже почти шедевр.

Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана возле куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, юноша упивался их ароматом, словно это было изысканное вино. Лорд Генри подошел к Дориану и положил ему на плечо руку.

— Вот это правильно, — негромко произнес он. — Исцелить душу можно лишь с помощью органов чувств, а исцелить чувства можно лишь с помощью души.

Юноша вздрогнул от неожиданности и отступил от куста. Ветки и листья сирени растрепали непокорные кудри, спутали золотистые пряди волос. В его глазах замер испуг, как у некоторых людей, когда их внезапно разбудят. Тонко очерченные ноздри трепетали, а ярко-красные губы нервно подергивались.

— Да, — продолжал лорд Генри, — в этом и состоит один из величайших секретов жизни: исцелять душу посредством чувств, а чувства — посредством души. Вы личность необыкновенная, мистер Грей. Вы знаете больше, чем, по вашим представлениям, вы знаете, но меньше, чем вам хотелось бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвел в сторону взгляд. Он ничего не мог с собой поделать, но его очень привлекал этот высокий, элегантный молодой человек. Романтическое, оливкового цвета лицо лорда Генри, выражение вселенской усталости в его глазах вызывали интерес Дориана, его просто завораживал низкий, лениво звучащий голос молодого лорда. Даже руки нового его знакомого — прохладные, белые, нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. Когда лорд Генри говорил, они грациозно двигались, словно под музыку, и, казалось, у них есть свой особый, только им понятный язык.

В то же время Дориан испытывал перед лордом Генри какой-то безотчетный страх, хотя и стыдился себе в этом признаться. Каким чудом этому незнакомцу удалось открыть перед ним, Дорианом, его собственную душу? Бэзила Холлуорда он знает несколько месяцев, но дружба с художником ни в малейшей степени не изменила его. И вдруг появляется человек, которого он никогда раньше не видел, и неожиданно открывает перед ним самые сокровенные тайны жизни. Чем же в таком случае вызван этот необъяснимый страх? Он ведь не школьник и не наивная девушка, и бояться этого человека нет у него никаких оснований.

— Пойдемте присядем где-нибудь в тени, — сказал лорд Генри. — Я вижу, Паркер уже несет нам напитки. Если вы и дальше будете пребывать на солнцепеке, ваша внешность будет непоправимо испорчена, и Бэзил никогда не станет вас больше писать. Вы не должны допускать, чтобы ваше лицо покрывалось загаром. С загаром вы будете выглядеть намного хуже.

— Не велика важность! — засмеялся Дориан Грей, усаживаясь на скамью в дальнем углу сада.

— Для вас это должно быть более чем важно, мистер Грей.

— Почему?

— Потому что вы обладаете чудесным даром молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь.

— Я не считаю это таким уж богатством, лорд Генри.

— Это сейчас вам так кажется. Но однажды, когда вы превратитесь в безобразного старика, когда от передуманных дум ваш лоб избороздится морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат вам губы, — вот тогда вы поймете, какого богатства лишились. Сейчас, где бы вы ни появились, вы всех очаровываете. Но будет ли это длиться бесконечно?.. У вас удивительно красивое лицо, мистер Грей. Не хмурьтесь, это действительно так. А Красота — одна из форм Гениальности, она даже выше Гениальности, ибо не требует, чтобы ее объясняли. Она — одно из великих явлений природы, подобно солнечному свету, приходу весны или

отражению в темной воде этой серебряной раковины, которую мы называем луной. Красота не может подвергаться сомнению. Она обладает священным правом на абсолютную власть, и те, кто наделен ею, сами становятся властелинами. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться... Люди иногда говорят, что Красота слишком поверхностна. Может быть. Но она, по крайней мере, не настолько поверхностна, как Мысль. Для меня Красота — величайшее чудо. Только поверхностные люди не судят обо всем по внешнему виду. Подлинная тайна мира заключается в том, что мы видим, а не в том, что сокрыто от наших глаз... Да, мистер Грей, боги пока что были к вам милостивы. Но то, что дается богами, ими же вскоре и отбирается. У вас остается лишь несколько лет, чтобы жить настоящей, прекрасной и полнокровной жизнью. Когда пройдет ваша молодость, а вместе с нею и красота, вы вдруг обнаружите, что время триумфов и побед для вас миновало, и вам придется довольствоваться победами столь жалкими, что они вам покажутся горше былых поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому ужасному будущему. Время завидует вам и ведет нещадную войну с вашими лилиями и розами. Ваше лицо пожелтеет, щеки впадут, глаза потускнеют. Вы будете ужасно страдать... Так пользуйтесь же вашей молодостью, пока она не ушла. Не растрачивайте попусту золото ваших дней, выслушивая болтливых людей, стараясь выйти из безвыходных положений или проводя время с невеждами, пошляками и ничтожествами. А именно в этом многие усматривают цель своей жизни, именно таковы идеалы нашей эпохи. Живите! Живите той удивительной жизнью, которая заключена внутри вас. Пусть ничто не проходит мимо вас! Никогда не уставайте искать новые ощущения! И никогда ничего не бойтесь!.. Новый гедонизм — вот что нужно нашему веку. И вы могли бы быть его зримым символом. Для вас, с вашей внешностью, нет ничего невозможного. Пока вы молоды, вам принадлежит весь мир... Как только я увидел вас, я сразу понял, что вы не знаете себе цену и не представляете, кем можете стать. Меня пленило в вас столь многое, что я сразу почувствовал — я должен помочь вам познать самого себя. Я подумал, что было бы настоящей трагедией, если бы ваша жизнь была истрачена зря. Ведь молодость ваша продлится такое короткое время! Полевые цветы каждой осенью увядают, чтобы весной распуститься вновь. Ракитник в июне каждого года становится таким же золотистым, каким вы его видите в эту минуту. Через месяц пурпурными звездами расцветет ломонос, и каждый год в темно-зеленой ночи его листьев все так же будут загораться пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается никогда. Пульс радости, что бьется в нас в двадцать лет, с течением времени угасает. Наше тело дряхлеет, притупляются наши чувства. Мы становимся похожими на безобразных марионеток и живем воспоминаниями о страстях, которые нас когда-то пугали, да соблазнах, которым мы не отваживались уступить. Ах, молодость, молодость! Что может сравниться с молодостью!

Дориан Грей слушал лорда Генри с жадным вниманием, не отрывая от него широко раскрытых глаз. Из его руки выскользнула и упала на гравий веточка сирени. Откуда ни возьмись появилась мохнатая пчела и с громким жужжанием принялась кружиться над оброненной веткой. Затем села на звездчатую пирамиду кисти и стала неуклюже переползать с одного крошечного цветка на другой. Дориан наблюдал за ней с тем пристальным вниманием, какое вызывают у нас мелочи в тех случаях, когда мы бессознательно пытаемся отвлечься от пугающих нас важных проблем, или когда нас волнует какое-то новое, безотчетное чувство, или когда тревожная мысль осаждает наш мозг и не дает думать ни о чем другом. Через некоторое время пчела полетела дальше. Дориан, проводив ее взглядом, увидел, что она опустилась на темно-красный цветок вьюнка и скрылась в глубине его чашечки. Цветок дрогнул и тихонько закачался на стебельке.

Внезапно в дверях студии появился Холлуорд и энергичными жестами стал звать лорда Генри и Дориана в дом. Молодые люди взглянули друг на друга и улыбнулись.

— Сколько вас можно ждать? — кричал им художник. — Прошу вас, поторопитесь! Нельзя терять ни минуты — освещение сейчас просто идеальное. А напитки свои можете допить и здесь.

Они поднялись и не спеша направились по дорожке к дому. Мимо них пролетели две бело-зеленые бабочки, на груше в дальнем конце сада запел дрозд.

— Ведь вы не жалеете, что познакомились со мной, мистер Грей? — спросил лорд Генри, взглянув на Дориана.

— Нет, сейчас я этому даже рад. Но я не уверен, всегда ли так будет.

— Всегда?! Ах, до чего ужасное слово! Меня всякий раз передергивает, когда я слышу его. Зато его обожают женщины. Они могут испортить даже самый пылкий роман, пытаясь продлить его навсегда. К тому же это слово лишено всякого смысла. Единственная разница между увлечением и любовью «навсегда» заключается в том, что увлечение длится дольше.

Они уже были на пороге студии, как вдруг Дориан Грей коснулся руки лорда Генри и тихо проговорил, зардевшись от собственной смелости:

— В таком случае пусть наша дружба будет увлечением.

Затем он прошел в комнату, поднялся на подиум и принял нужную позу.

Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, молча смотрел на Дориана. Тишину нарушали только стремительные, размашистые удары кисти по полотну, прекращавшиеся лишь тогда, когда Холлуорд отходил от мольберта, чтобы с расстояния взглянуть на свою работу. В косых лучах солнечного света, проникавшего в студию через незатворенную дверь, плясали золотые пылинки. В воздухе стоял густой аромат роз.

Где-то через четверть часа Холлуорд, отступив от полотна, долго стоял, пристально глядя сначала на Дориана Грея, затем на портрет; при этом он покусывал кончик длинной кисти и хмурился.

— Пожалуй, на этом закончим! — проговорил он наконец и, нагнувшись, подписал продолговатыми ярко-красными буквами свое имя в левом углу картины.

Лорд Генри встал и прошел в другой конец комнаты, чтобы рассмотреть портрет с близкого расстояния. Несомненно, это было замечательное произведение искусства. К тому же художнику удалось добиться поразительного сходства.

— Мой дорогой друг, искренне поздравляю тебя! — воскликнул лорд Генри. — Я уверен, что это самый прекрасный портрет из созданных в наше время. Мистер Грей, идите сюда и взгляните на себя.

Юноша встрепенулся, словно пробудившись от сна.

— Неужели портрет закончен? — пробормотал он, сходя с подиума.

— Полностью закончен, — ответил художник. — И вы сегодня великолепно позировали. Я вам очень за это признателен.

— Это благодаря мне, — улыбнулся лорд Генри. — Не правда ли, мистер Грей?

Дориан, ничего не произнося в ответ, с каким-то отрешенным видом подошел к картине и повернулся к ней лицом. Увидев свое изображение, он от неожиданности отпрянул, и лицо его вспыхнуло от удовольствия. Глаза его радостно засветились, как если бы он впервые узнал себя в смотрящем на него с полотна юноше. Он стоял не двигаясь, словно замороженный, смутно слыша, что к нему обращается Холлуорд, но не улавливая смысла слов. Сознание собственной красоты явилось для него ошеломляющей неожиданностью. Он никогда раньше не придавал большого значения своей внешности, а комплименты Бэзила Холлуорда принимал за проявление дружеского расположения. Он выслушивал их, смеялся над ними и забывал их. Они никак не влияли на его характер. Но вот появился лорд Генри Уоттон с его восторженным гимном молодости и предостережением о ее быстротечности, и это произвело на Дориана такое огромное впечатление, что сейчас, глядя на отражение в портрете своей красоты, он вдруг с пугающей ясностью представил себе то будущее, о котором говорил лорд Генри. Ведь в самом деле наступит тот день, когда лицо его высохнет и сморщится, глаза потускнеют и выцветут, фигура утратит стройность и станет безобразной. Алый цвет сойдет с его губ, а золото с волос. Годы, формируя его душу, будут разрушать его тело. Оно станет беспомощно неуклюжим и отвратительным.

Его пронзила острая боль, словно от удара ножом, по объятому ужасом телу прошла мелкая дрожь. Глаза его потемнели, став лиловыми, как аметист, и затуманились слезами. Ему стало казаться, будто его сердце сдавливает ледяная рука.

— Разве портрет вам не нравится? — воскликнул наконец Холлуорд, чувствуя себя задетым молчанием Дориана и не понимая, что оно означает.

— Ну конечно, он ему нравится, — ответил за него лорд Генри. — Кому бы он не понравился? Это поистине событие в современном искусстве. Я готов отдать за портрет любую сумму, какую ты ни запросишь. Он обязательно должен быть моим.

— Я не могу его продать, Гарри. Он принадлежит не мне.

— Кому же, в таком случае?

— Естественно, Дориану, — ответил художник.

— Что ж, ему повезло!

— Как это грустно! — пробормотал Дориан Грей, все еще не отводя глаз от портрета. — Как печально! Я превращусь в уродливого, безобразного старика, а мой портрет навсегда останется молодым. Он никогда не станет старше, чем сегодня, в этот июньский день... Ах, если бы было наоборот! Если бы я всегда оставался молодым, а старился этот портрет! За это... за это я отдал бы все на свете! Ничего бы не пожалел! Я готов был бы душу отдать за это!

— Тебя, Бэзил, вряд ли устроило бы такое! — воскликнул лорд Генри со смехом. — Твои картины ждал

бы весьма печальный удел!

— Да, я очень бы возражал против этого, — отозвался Холлуорд.

Дориан Грей повернулся к нему и сказал:

— Я в этом не сомневаюсь, Бэзил. Для вас искусство важнее ваших друзей. Какая-нибудь позеленевшая бронзовая статуэтка значит для вас больше, чем я.

Художник смотрел на него с изумлением. Дориан никогда не разговаривал с ним подобным образом. Что это на него нашло? Он казался разгневанным, лицо его покраснело, на щеках выступили алые пятна.

— Да, — продолжал Дориан. — Что я для вас по сравнению с вашим Гермесом из слоновой кости или серебряным фавном?! Они вам всегда будут дороги, а вот как долго буду вам интересен я? Вплоть до появления на моем лице первой морщины, не правда ли? Я теперь понимаю — когда человек теряет свою красоту, он теряет все. Меня научила этому ваша картина. Лорд Генри тысячу раз прав: молодость — единственная ценность в жизни. Когда я замечу, что начинаю стареть, я покончу с собой.

Холлуорд побледнел и схватил его за руку:

— Дориан, Дориан, что вы такое говорите! У меня не было и никогда не будет другого такого друга, как вы. Вы же не можете завидовать каким-то неодушевленным предметам — вы, который намного прекрасней их всех!

— Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему на нем должно сохраниться то, что мне суждено потерять? Каждое уходящее мгновение будет что-то у меня отнимать и тут же отдавать ему. Ах, если бы было наоборот! Если бы портрет изменялся, а я всегда оставался таким, как сейчас! И зачем вы его только написали? Когда-нибудь он начнет надо мной смеяться и безжалостно дразнить меня!

На глаза Дориана навернулись горячие слезы, он высвободил свою руку и, бросившись на диван, зарылся лицом в подушки.

— Это твоя работа, Гарри! — с горечью произнес художник.

Лорд Генри пожал плечами:

— Ты увидел настоящего Дориана Грея, вот и все.

— Нет, дело не в этом.

— Если даже и не в этом, то все равно я тут ни при чем.

— Ты должен был уйти сразу же, как я тебя попросил.

— Но я остался именно потому, что ты меня попросил, — возразил лорд Генри.

— Гарри, мне не хочется ссориться сразу с двумя моими лучшими друзьями, но вы оба заставили меня возненавидеть мое лучшее произведение, и мне ничего другого не остается как уничтожить его. В конце концов, это всего лишь кусок холста, на который нанесено немного красок, — вот и все. И я не могу допустить, чтобы из-за такой чепухи между нами тремя испортились отношения.

Дориан Грей поднял с подушки голову — лицо у него было бледное, глаза заплаканные — и стал следить за каждым движением художника. А тот направился к своему рабочему столику из сосновых досок, стоящему у высокого, занавешенного окна, и стал там что-то искать. Что, интересно, ему там нужно? Пошарив среди беспорядочно наваленных на столе тюбиков с красками и кистей, Холлуорд нашел длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. Неужели он действительно собирается уничтожить портрет?!

Судорожно вздохнув, юноша вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду и, выхватив у него шпатель, швырнул его в дальний угол студии.

— Не смейте этого делать, Бэзил! Не смейте! — крикнул он. — Это все равно что совершить убийство!

— Я рад, Дориан, что вы наконец оценили мое произведение, — холодно произнес художник после того, как опомнился от удивления. — Признаться, я на это уже не надеялся.

— Оценил?! Да я влюблен в этот портрет, Бэзил! Он как бы частичка меня самого. Я это чувствую всей душой.

— Ну и отлично. Как только вы подсохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. А там можете делать с собой все, что вам заблагорассудится.

Пройдя в другой конец комнаты, Холлуорд позвонил, чтобы принесли чай.

— Надеюсь, Дориан, вы не откажетесь от чашечки чая? И ты, Гарри, тоже? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?

— Я обожаю простые удовольствия, — ответил лорд Генри. — Они последнее прибежище для непростых натур. Но драматические сцены я признаю только на театральных подмостках. До чего же вы оба странные

люди! Интересно, кому это взбрело в голову назвать человека животным, наделенным разумом? В высшей степени необоснованное утверждение. Человек наделен чем угодно, но только не разумом. И, в сущности, я рад, что это так, но зачем же было устраивать такую возню из-за портрета? Ты бы лучше отдал его мне, Бэзил! Этому глупому мальчику он вовсе не нужен, а я был бы счастлив его иметь.

— Бэзил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите кому-то другому! — воскликнул Дориан Грей. — И я никому не позволю называть себя «глупым мальчиком».

— Вы же знаете, Дориан, что картина по праву ваша. Я подарил ее вам еще до того, как начал писать.

— И вы так же прекрасно знаете, что вели себя достаточно глупо, мистер Грей, — сказал лорд Генри. — Кроме того, вы ведь на самом деле не против, чтобы вам иногда напоминали, что вы еще очень молоды, не так ли?

— Уверяю вас, утром я был бы против, лорд Генри.

— Ах, утром! С утра много чего изменилось.

В дверь постучали. Вошел дворецкий с чайным подносом и поставил его на маленький японский столик. Звякнули чашки и блюдца. Из большого старинного чайника вырывались, шипя, клубы пара. Затем мальчик-слуга внес два фарфоровых блюда с крышками в форме полушарий. Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Бэзил и лорд Генри не спеша последовали за ним и, приподняв крышки, взглянули, что там на блюдах.

— Давайте сходим в театр, — предложил лорд Генри. — Надеюсь, в городе идет хоть что-то приличное. Я, правда, договорился вечером обедать с одним человеком в Уайте, но он мой давний приятель, так что можно послать ему телеграмму с известием, что я заболел или что мне не позволяет с ним встретиться более поздняя договоренность. Пожалуй, вторая отговорка звучит даже лучше: она поражает своей прямолинейной откровенностью.

— Терпеть не могу напяливать на себя фрак! — буркнул Холлуорд. — Человек во фраке выглядит совершенно нелепо.

— Это верно, — томно отозвался лорд Генри. — Нынешняя одежда безобразна, она прямо-таки угнетает своей прозаичностью, своей мрачностью. В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока.

— Право, Гарри, не стоит говорить такое при Дориане!

— При котором из них? При том, что наливает нам чай, или при том, что взирает на нас с портрета?

— При обоих.

— Я бы очень хотел пойти с вами в театр, лорд Генри, — промолвил юноша.

— Так в чем же дело? Я вас приглашаю. Надеюсь, ты тоже идешь с нами, Бэзил?

— Нет, право, я не могу. И, честно говоря, не хочу. У меня много работы.

— Значит, нам с вами придется идти вдвоем, мистер Грей.

— Если б вы знали, как я этому рад!

Художник закусил губу и с чашкой в руке подошел к портрету.

— А я остаюсь с подлинным Дорианом, — проговорил он грустно.

— Вы считаете, это — подлинный Дориан? — спросил оригинал портрета, приблизившись к Холлуорду. — Неужели я и в самом деле такой?

— Да, именно такой.

— Но это же замечательно, Бэзил!

— Во всяком случае, внешне вы точно такой. И на портрете наверняка не изменитесь, — вздохнул Холлуорд. — А это уже кое-что.

— До чего же люди носятся с этим постоянством, с этой верностью! — воскликнул лорд Генри. — Но ведь даже когда речь идет о любви, верность можно считать вопросом чисто физиологическим, ничуть не зависящим от нашей воли. Молодые люди хотели бы сохранять верность, но не могут, старики хотели бы ее нарушать, но тоже не могут. Вот и все, что можно сказать на этот счет.

— Дориан, не ходите сегодня в театр, — сказал Холлуорд. — Оставайтесь, мы пообедаем вместе.

— Не могу, Бэзил.

— Почему, Дориан?

— Потому что я дал обещание лорду Генри Уоттону пойти вместе с ним в театр.

— Не думайте, что он станет к вам относиться лучше лишь потому, что вы не будете нарушать своих обещаний. Сам он никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу, не уходите.

Дориан засмеялся и покачал головой.

— Умоляю вас!

Юноша некоторое время колебался, затем, взглянув на лорда Генри, который сидел за чайным столиком в другом конце студии, с иронической улыбкой наблюдая за ними, твердо произнес:

— Нет, Бэзил, я должен идти.

— Что ж, как знаете, — вздохнул Холлуорд и, подойдя к столику, поставил на поднос чашку. — В таком случае не теряйте времени: уже довольно поздно, а вам еще надо переодеться. До свидания, Гарри. До свидания, Дориан. Жду вас у себя в ближайшее время — скажем, завтра. Придете?

— Непременно.

— Не забудете?

— Ну конечно, нет! — воскликнул Дориан.

— Кстати, Гарри!

— Да, Бэзил?

— Не забывай, о чем я просил тебя утром в саду!

— А я уже и забыл.

— Смотри же, я тебе доверяю!

— Хотел бы я сам себе доверять! — рассмеялся лорд Генри. — Пойдемте, мистер Грей, мой кабриолет ждет у ворот, и я могу довести вас домой. До свидания, Бэзил. Я провел у тебя замечательно интересный день.

Когда за ними закрылась дверь, художник бросился на диван и на лице его отразилась испытываемая им душевная боль.

Глава III

На другой день, в половине первого, лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзон-стрит и направился к Олбани[8], чтобы навестить своего дядюшку, лорда Фермора, добродушного, хотя и несколько резковатого старого холостяка, по мнению многих, эгоиста, ибо из него трудно было вытянуть лишнее пенни, но в свете слывшего за щедрого человека, поскольку он не скупясь угощал обедами всех, кто казался ему забавным. Отец лорда Фермора состоял нашим послом в Мадриде еще в те времена, когда Изабелла[9] была совсем молодой, а о Приме[10] и слухом не слыхивали, но рано покинул дипломатическую службу, погорячившись из-за того, что не был назначен послом в Париж, хотя считал себя как нельзя более подходящей на это место кандидатурой в силу своего происхождения, своей неодолимой склонности к праздности, прекрасного слога своих дипломатических депеш и своего неумеренного пристрастия к наслаждениям. Сын дипломата, состоявший при папаше секретарем, подал в отставку вместе со своим родителем, что многие восприняли как сумасбродство, а несколько месяцев спустя, унаследовав титул, всерьез принялся осваивать великое аристократическое искусство абсолютного ничегонеделания. У него было два больших дома в Лондоне, но он предпочитал снимать меблированную квартиру, находя это менее для себя хлопотным, а питался большей частью в своем клубе. Владая угольными копиями в центральных графствах Англии, лорд Фермор снисходил порой до участия в их управлении, оправдывая это неожиданное для него проявление духа предпринимательства тем, что, добывая уголь, он может себе позволить, как это приличествует настоящему джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим взглядам он был консерватор, за исключением тех периодов, когда консерваторы стояли у власти, в каковых случаях он нещадно их поносил, именуя шайкой радикалов. Хозяева, как известно, не бывают героями в глазах своих слуг, но лорд Фермор пользовался уважением своего камердинера, что не мешало тому как угодно помывать им, зато был грозой в глазах своих родственников, которыми, в свою очередь, помывал. Такой человек, как он, мог родиться только лишь в Англии; тем не менее он не устал повторять, что Англия катится в пропасть. Его жизненные принципы давно устарели, зато его предрассудки были вполне современны.

Когда лорд Генри вошел в комнату, его дядя, облаченный в охотничью куртку простого покроя, сидел в кресле, курил сигару и читал «Таймс», то и дело что-то бурча себе под нос.

— Хотел бы я знать, Гарри, — произнес старый джентльмен, — что заставило тебя прийти ко мне в столь ранний час? Я считал, что вы, денди, никогда не встаете раньше двух и не появляетесь в обществе раньше пяти.

— Уверяю вас, дядя Джордж, я пришел к вам чисто из родственных чувств. Иначе говоря, мне кое-что от вас нужно.

— Надеюсь, не денег? — подозрительно осведомился лорд Фермор. — Ну хорошо, садись и выкладывай, в чем там дело. Нынешние молодые люди воображают, будто деньги решают все.

— Вы правы, — пробормотал лорд Генри, поправляя бутонарку в петлице. — И, по мере того как они становятся старше, убеждаются в этом все больше. Но мне не нужны деньги, дядя Джордж, — они нужны только тем, кто платит по счетам, а этого я не привык делать. Кредит — вот единственный капитал младших сыновей, и на него можно жить припеваючи. К тому же я беру все, что мне нужно, в магазинах моего приятеля Дартмура, а там мне никогда не докучают счетами. Ну а к вам я пришел за информацией, причем не полезной, а бесполезной.

— Что ж, я могу тебе сообщить все, что имеется в Синих книгах[11], хотя нынче там печатают всякую ерунду. В те времена, когда я был дипломатом, это делали гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов берут на службу только после экзаменов. Так чего же от них ожидать? Экзамены, сэр, — это полнейшая чепуха, от начала и до конца. Настоящие джентльмены и так знают вполне достаточно, а всем остальным знания только во вред.

— Мистер Дориан Грей не упоминается в Синих книгах, — произнес томным голосом лорд Генри.

— Мистер Дориан Грей? А кто он такой? — спросил лорд Фермор, сдвинув седые косматые брови.

— Вот об этом я и хотел бы узнать, дядя Джордж. Впрочем, кое-что мне о нем известно: он внук последнего лорда Келсо, а мать его была из Деверуксов — леди Маргарет Деверукс. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о ней. Что она собой представляла? За кого вышла замуж? Ведь вы в свое время знали практически всех — так, может быть, вы и о ней что-то помните? С мистером Греем я познакомился буквально на днях, и он меня очень интересует.

— Внук Келсо... — задумчиво повторил старый лорд, — внук Келсо... Как же, припоминаю... Я довольно хорошо знал его мать. Помнится, даже присутствовал на ее крестинах. Она была необыкновенно красивая девушка, эта Маргарет Деверукс, и, когда она убежала с каким-то молодым человеком, у которого не было за душой ни пенни, все мужчины просто неистовствовали. Он был практически никем, сэр, — младшим офицериком в каком-то пехотном полку или чем-то в этом роде. Да, так оно и было. Я прекрасно все помню, как если бы это случилось только вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа[12] всего лишь через несколько месяцев после того, как они поженились. Судя по всему, за этим крылась очень грязная история. Поговаривали, будто Келсо нанял какого-то негодяя, бельгийского авантюриста, щедро заплатив ему за услуги, и тот, публично оскорбив его зятя, насадил молодого человека на шпагу, как голубя на вертел. Дело удалось замять, но лорду Келсо еще долго после этого приходилось жевать свой традиционный бифштекс в полном одиночестве, когда он появлялся в клубе. Дочь свою, как мне потом говорили, он привез домой, но она с ним никогда не разговаривала с той поры. Да, печальная история! Через какой-то год умерла и девушка... Так, значит, выходит, после нее остался сын? А я и забыл об этой истории. Интересно, как он выглядит? Если удался в мать, то, должно быть, красивый мальчик.

— Он очень красивый молодой человек, — подтвердил лорд Генри.

— Надеюсь, он попадет в хорошие руки, — продолжал лорд Фермор. — Если Келсо не обделил его в завещании, молодому человеку достанется целое состояние. Да и у его матери водились денежки. К ней перешло от деда все поместье Селби. А дед ее, между прочим, терпеть не мог Келсо, считая его жутким сквальгой. Тот и в самом деле был скрягой. Помню, как-то он приехал в Мадрид — тогда я еще жил в Испании. Так мне, черт возьми, пришлось изрядно краснеть за него! Королева много раз спрашивала у меня насчет этого странного английского аристократа, который вечно ругается с извозчиками из-за каждой монеты. О нем там даже ходили анекдоты. Целый месяц — до тех пор пока он не уехал, — я не осмеливался и носу казать при дворе. Остается надеяться, что Келсо обошелся со своим внуком хоть капельку лучше, чем с мадридскими извозчиками.

— Этого я не знаю, — ответил лорд Генри. — Дориан еще несовершеннолетний, но, мне кажется, он будет хорошо обеспечен. Ему и сейчас уже принадлежит Селби — я сам слышал от него об этом... Так вы говорите, мать его была красавицей?

— Маргарет Деверукс была самым совершенным созданием, какое мне приходилось видеть, и я никогда не мог понять, что заставило ее так поступить. Ведь она могла выйти за кого только ни пожелала бы. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были такие. Мужчины у них никуда не годились, а вот женщины, черт возьми, были замечательные. Карлингтон на коленях ее умолял — он сам мне рассказывал. Но она лишь смеялась над ним, хотя в то время трудно было найти в Лондоне девушку, которая бы не грезила о нем. Да, кстати, Гарри, коль мы

заговорили об абсурдных браках, скажи мне, что за вздор молот твой отец насчет Дартмура, — будто он собирается жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?

— Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках стало очень модным.

— А я говорю, что лучше англичанок никого нет на свете! — и лорд Фермор стукнул кулаком по столу.

— Все делают ставку только на американок.

— Я слышал, их ненадолго хватает, — буркнул старый джентльмен.

— Да, заезды на длинные дистанции их утомляют, но в скачках с препятствиями им не бывает равных.

На лету берут барьеры. Думаю, Дартмуру не отвертеться.

— А кто ее родители? — ворчливо осведомился лорд Фермор. — Если, конечно, они у нее вообще имеются.

Лорд Генри покачал головой.

— Американки так же искусно скрывают своих родителей, как англичанки — свое прошлое, — сказал он, вставая.

— Небось, папаша ее — какой-нибудь поставщик свинины?

— Хочу на это надеяться, дядя Джордж, — Дартмуру в этом случае очень бы повезло. Говорят, поставщик свинины — самая прибыльная профессия в Америке; после политики, разумеется.

— А она хоть хорошенькая?

— Как и большинство американок, она держится так, будто она красавица. В этом весь секрет их привлекательности.

— И почему они не остаются в своей Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там просто рай для женщин.

— Так оно и есть. Именно поэтому они, подобно Еве, стремятся поскорее покинуть его, — проговорил лорд Генри. — Что ж, до свидания, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к обеду. Спасибо за исчерпывающую информацию. Мне всегда хочется знать о новых друзьях как можно больше, а о старых — как можно меньше.

— А где ты сегодня обедаешь, Гарри?

— У тети Агаты. Я сам напросился к ней в гости, заручившись приглашением и для мистера Грея. Он, кстати, ее новый протеже.

— Гм! Скажи своей тете Агате, Гарри, чтобы она больше не донимала меня своими просьбами о пожертвованиях. Они у меня уже в печенках сидят. Эта достойная дама, видно, решила, что у меня нет других дел, кроме как выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи.

— Хорошо, дядя Джордж, я ей скажу, но не думаю, что это поможет. Люди, подверженные филантропическим идеям, не имеют представления о человеколюбии. Это главное, что их отличает от других людей.

Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил слуге, чтобы тот проводил гостя.

Выйдя через пассаж на Берлингтон-стрит, лорд Генри направился к Баркли-сквер[13]. Итак, теперь он кое-что знает о происхождении Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах, услышанная им история взволновала его прежде всего тем, что это была совершенно необычная и, в сущности, почти современная история любви. Прекрасная женщина жертвует всем на свете ради всепоглощающей страсти. Безумное счастье длится недолго — всего несколько недель. Идиллия прерывается страшным, предательским преступлением. Затем — месяцы безмолвного отчаяния и рожденный в муках ребенок. Мать ходит в могилу, а мальчик остается полным сиротой в руках деспотичного и не любящего его старика... Да-а, у этого юноши любопытнейшая предыстория, она по-новому рисует его, и он представляется еще более совершенным. За изысканной красотой всегда скрывается что-то трагическое. До чего же много нужно в мире страданий, чтобы расцвел самый скромный цветок!

Накануне вечером, когда они обедали в клубе, Дориан был совершенно очарователен! Он сидел за столом напротив него, в глазах его таилась легкая робость, рот был полуоткрыт с выражением застенчивого удовольствия, в тени красных абажуров над свечами нежно-розовый цвет его лица казался более насыщенным, а восторженное изумление, с которым он воспринимал окружающее, более непосредственным. Говорить с ним было все равно что играть на совершеннейшей скрипке, отзывающейся на легчайшее прикосновение смычка к ее струнам... Ах, до чего же это увлекательно — оказывать воздействие на других людей! Разве что-нибудь может сравниться с этим? Вложить свою душу в чью-то совершенную форму хоть на недолгое время; слышать отзвуки своих собственных мыслей и воззрений, обогащенных музыкой пылкой молодости и юной страсти;

передать другому свое настроение и душевное состояние, как если бы это были тончайшие флюиды или экзотические благовония, — все это доставляет невыразимую радость, возможно самую большую радость, которую может испытать человек в наш меркантильный, вульгарный век с его грубыми, чувственными уладами и приземленными идеалами.

Этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в студии Бэзила, — удивительное существо, но из него можно вылепить нечто еще более совершенное. У него есть все — обаяние, юношеская чистота, а главное, красота, сравнимая лишь с той, какую сохранили для нас в мраморе древние греки. Под чьим-то влиянием он может превратиться в кого угодно — и в настоящего титана, и в жалкую марионетку. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!..

Ну а что можно сказать о Бэзиле? С психологической точки зрения он удивительно интересная личность. Бэзилу доступны новая манера живописи и свежее восприятие жизни, подсказанные ему, как ни странно, одним лишь зримым присутствием того, кого он изображает и кто сам об этом даже не подозревает. Безмолвный дух, обитающий в сумрачных рощах и порою бродящий никем не видимый в чистом поле, однажды явился ему в образе лесной нимфы, не страшась его, потому что душою своей он давно уже искал свою музу и в нем наконец пробудился редчайший дар видеть в обычном чудесное, когда формы и очертания обыкновенных предметов становятся утонченно изысканными, приобретая своего рода символическое значение, как если бы они сами являлись воплощением каких-то иных, более совершенных форм, чьей материальной тенью им приходится быть. До чего же всё это необыкновенно и загадочно! Подобные явления известны с самых незапамятных времен, и первую попытку объяснить их сделал Платон[14], этот художник в логическом царстве мысли. А Буонаротти[15] воплотил свое понимание феномена художественного восприятия мира в высеченных им изваяниях, этих сонетах из цветного мрамора. Но в нынешние времена способность видеть в обыкновенном прекрасное — величайшая редкость...

Ну что ж, подумал лорд Генри, он постарается быть для Дориана Грея тем, кем сам Дориан, не догадываясь об этом, был для художника, создавшего его чудесный портрет. Он старается подчинить Дориана своей воле, — он уже и сейчас во многом достиг этого, — и тогда душа прекрасного юноши будет полностью принадлежать ему. Да, это очаровательное дитя Любви и Смерти непреодолимо притягивало его!

Лорд Генри резко остановился и окинул взглядом соседние дома. Убедившись, что дом его тетушки остался далеко позади, он улыбнулся, покачав головой, и повернул обратно. Когда он вошел в мрачноватую прихожую, дворецкий сообщил ему, что все уже за столом. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел в столовую.

— Ты не можешь не опаздывать, Гарри! — воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой.

Он извинился, придумав на ходу не очень правдоподобное объяснение, затем, опустившись на свободное место рядом с хозяйкой дома, обвел взглядом присутствующих. Сидевший в другом конце стола Дориан вспыхнул от удовольствия и застенчиво кивнул ему головой. Напротив него восседала герцогиня Харли, удивительно уравновешенная и добродушная дама обширных, чуть ли не архитектурных пропорций, обычно определяемых, в случае женщин низшего сословия, вульгарным понятием «тучность»; герцогиня пользовалась в свете всеобщей и заслуженной любовью. Справа от нее сидел сэр Томас Бэрдон, член парламента и радикал в политической жизни, гурман и вольнодумец в жизни частной, ввиду чего он неизменно следовал известному мудрому правилу обедать с консерваторами, а досуг проводить с либералами. Соседом герцогини по левую руку был мистер Эрскин из поместья Тредли, весьма приятный и очень культурный пожилой джентльмен, однако крайне неразговорчивый, поскольку, как он однажды объяснил леди Агате, все, что он хотел сказать, было им сказано еще до тридцатилетнего возраста. Рядом с самим лордом Генри сидела миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая настолько безвкусно, что ее впору было сравнить с молитвенником в дешевом скверном переплете. К счастью для него, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фодел, в высшей степени интеллектуальный, но в то же время с посредственными способностями и совершенно лысый джентльмен средних лет, с которым она беседовала в свойственной таким добродетельным женщинам, как она, преувеличенно серьезной манере — непростительный, на взгляд лорда Генри, порок, от которого благочестивые люди не в состоянии избавиться.

— Мы говорим о бедном Дартмуре, лорд Генри, — обратилась к нему герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. — Как вы считаете, он действительно собирается жениться на этой очаровательной молодой особе?

— Да, герцогиня. Я полагаю, она уже готова сделать ему предложение.

— Какой ужас! — воскликнула леди Агата. — Право же, кто-нибудь должен вмешаться!

— Я слышал из самых верных источников, что ее папаша в Америке держит галантерейную лавку, где

торгуют сухими товарами[16], — с презрительным видом проговорил сэр Томас Бэрдон.

— А вот мой дядя, лорд Фермор, высказал предположение, что ее отец — поставщик свинины, сэр Томас.

— Сухие товары? А что американцы подразумевают под сухими товарами? — поинтересовалась герцогиня, в удивлении воздевая полные руки и делая ударение на слове «американцы».

— О, американские романы, — ответил лорд Генри, принимаясь за куропатку.

Герцогиню его ответ привел в совершенное замешательство.

— Не слушайте его, дорогая, — шепнула ей леди Агата. — Он никогда не говорит серьезно.

— Когда открыли Америку... — вступил в разговор член парламента от радикалов — и начал приводить скучнейшие факты из истории этой страны. Подобно всем тем, кто старается полностью исчерпать предмет своего красноречия, он гораздо раньше исчерпал терпение своих слушателей. Герцогиня тяжело вздохнула и решила воспользоваться своей прерогативой аристократки перебивать собеседников.

— Господи, лучше бы не открывали Америку! — воскликнула она. — Ведь из-за этих американок у наших девушек не остается никаких шансов выйти замуж. А это ужасно несправедливо.

— Кто знает, а может быть, Америку вовсе и не открыли, — задумчиво произнес мистер Эрскин, — а только лишь обнаружили.

— Мне ведь воочию приходилось видеть представительниц ее населения, — с некоторой неуверенностью проговорила герцогиня. — И, нужно признать, большинство из них оказались прехорошенькими. К тому же одеваются прекрасно. Все свои туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить.

— Считается, что, когда умирают хорошие американцы, они переносятся в Париж, — изрек, посмеиваясь, сэр Томас, у которого имелся неистощимый запас заезженных остроумий.

— Неужели! — удивилась герцогиня. — А куда же в таком случае деваются после смерти плохие американцы?

— Возвращаются в Америку, — пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас нахмурил брови и сказал, обращаясь к леди Агате:

— Боюсь, ваш племянник относится с некоторым предубеждением к этой великой стране. Я изъездил ее вдоль и поперек — причем в моем распоряжении всегда был отдельный вагон, и, вообще, меня принимали чрезвычайно гостеприимно, — и могу вас уверить, что посещение Америки в значительной степени расширяет кругозор.

— Неужели для расширения кругозора обязательно ехать в Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрскин. — На такое путешествие я бы никогда не решился.

Сэр Томас сделал выразительный жест рукой:

— Для мистера Эрскина весь мир умещается на его книжных полках. А мы, люди действия, хотим видеть мир своими глазами, а не читать о нем в книгах. Американцы — удивительно интересный народ. И они очень трезво мыслят. Я думаю, это их главная черта. Да-да, мистер Эрскин, это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не совершает глупостей.

— Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. — Я еще могу смириться с откровенной силой, но откровенное здравомыслие невыносимо. Руководствоваться одним лишь разумом — в этом есть что-то вульгарное. И крайне неразумное.

— Не понимаю, что вы хотите этим сказать, — отозвался сэр Томас, багровея.

— Зато я вас понимаю, лорд Генри, — с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.

— В парадоксах есть своя прелесть, но всему же существует предел, — не успокаивался баронет.

— Разве это был парадокс? — невинным голосом спросил мистер Эрскин. — А мне так не показалось. Хотя, может быть, вы и правы. Но даже если и так? Ведь парадоксы прокладывают нам путь к истине, и, чтобы познать цену реальности, мы должны увидеть ее балансирующей на цирковом канате. Об истинности истин мы можем судить только тогда, когда они становятся акробатами.

— Господи, до чего же вы, мужчины, любите спорить! — вздохнула леди Агата. — К тому же я и понятия не имею, о чем идет речь. Кстати, Гарри, я ужасно на тебя сердита за то, что ты отговариваешь нашего милого мистера Дориана Грея навещать к этим несчастным в Ист-Энд. Уверяю тебя, его помощь будет просто бесценной. Им очень понравится, как он играет.

— А я хочу, чтобы он играл для меня, — улыбнулся лорд Генри и, глянув в сторону Дориана, поймал на себе его благодарный взгляд.

— Но они так страдают в этом своем Уайтчепеле! — продолжала настаивать леди Агата.

— Я могу сочувствовать чему угодно, кроме страданий, — пожал плечами лорд Генри. — Страдания не вызывают у меня сочувствия. Слишком они отталкивающи, слишком ужасны, слишком удручающи. В нынешней моде сочувствовать страждущим есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать, в прямом смысле этого слова, нужно красоте, ярким краскам, радостному ощущению жизни. И чем меньше мы будем говорить о социальных язвах, тем лучше.

— Но Ист-Энд — проблема очень серьезная, — заметил сэр Томас, внушительно качая головой.

— Без всяких сомнений, — согласился молодой лорд. — Но это проблема рабства, а мы пытаемся ее решить, увеселяя рабов.

Политик пристально посмотрел на него и спросил:

— И каким же образом, на ваш взгляд, можно изменить положение?

Лорд Генри рассмеялся.

— Я бы ничего не стал изменять в Англии, кроме погоды, — сказал он, — и вообще меня больше устраивает роль созерцателя. Но все же я могу сказать, что, поскольку девятнадцатый век оказался банкротом, причем из-за излишнего проявления сострадания, нам стоило бы почаще обращаться к науке, которая наставит нас на путь истинный. Ценность эмоций заключается в том, что они нас уводят с истинного пути, а ценность науки — в том, что она совершенно не эмоциональна.

— Но ведь на нас лежит такая ответственность... — робко вступила в беседу миссис Ванделер.

— Да, громадная ответственность! — поддержала ее леди Агата.

Лорд Генри переглянулся через стол с мистером Эрскином и промолвил:

— Человечество относится к себе уж слишком серьезно. Это его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы совсем по другому пути.

— Вы меня очень утешили, — прошептала герцогиня. — Я постоянно чувствую себя виноватой, когда бываю у вашей милой тетушки, потому что Ист-Энд меня совершенно не интересует. А теперь я смогу смотреть ей в глаза не краснея.

— Но румянец женщинам очень к лицу, герцогиня, — заметил лорд Генри.

— Только когда они молодые, — отозвалась она. — А если краснеет такая старуха, как я, это ни о чем хорошем не говорит. Ах, лорд Генри, научите меня, как снова стать молодой!

Подумав с минуту, лорд Генри спросил, глядя на нее через стол:

— Можете ли вы, герцогиня, припомнить хотя бы одну большую ошибку, совершенную вами в ранней юности?

— Боюсь, далеко не одну! — порывисто проговорила она.

— В таком случае, совершите их снова, — промолвил он без тени улыбки. — Чтобы вернуть свою молодость, достаточно повторить ее безрассудства.

— Какая восхитительная теория! — воскликнула герцогиня. — Непременно проверю ее на практике.

— Какая опасная теория! — процедил сэр Томас.

Леди Агата лишь молча покачала головой, но было видно, что слова племянника ее забавляют. Мистер Эрскин слушал с большим вниманием.

— Да, — продолжал лорд Генри. — Это один из секретов продления жизни. В наши дни большинство людей умирает от все более овладевающего ими благоразумия, и, только когда уже слишком поздно, они начинают сознавать, что единственное, о чем человек никогда не жалеет, — это его ошибки.

Все за столом рассмеялись.

А лорд Генри продолжал играть с этой мыслью, словно кошка с мышью, давая полную волю своей фантазии: он то жонглировал ею, по своей прихоти видоизменяя ее, то позволял ей ускользнуть от себя, тотчас же вновь настигая ее, то заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, то окрылял парадоксами, давая ей взлететь на недостижимую высоту. И тогда этот хвалебный гимн безрассудствам воспарял к высочайшим вершинам философии, отчего сама философия обретала былую молодость и, увлекаемая безумной музыкой наслаждения, подобная вакханке[17] в залитом вином облачении и в венке из плюща, пускалась в пляс по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного Силена[18]. Прозаические факты повседневности бросались при ее появлении во все стороны, словно потревоженные лесные духи. Ее белые ноги месили виноград в огромной давилльне, у которой восседает мудрый Омар Хайям[19], и журчащий сок вскипал вокруг ее обнаженных ног волнами пурпурных пузырьков, стекая затем ручейками красной пены по черным, покатым стенкам чана.

То была вдохновенная импровизация. Лорд Генри чувствовал на себе неотрывный взгляд Дориана Грея, и сознание, что среди присутствующих есть человек, чью душу ему хотелось бы приворожить, придавало его воображению необыкновенную живость, а его остроумию особенный блеск. Его монолог был блестящим, фантастическим, парадоксальным. Он совершенно очаровал свою аудиторию, внимавшую каждому его слову и встречавшую восхищенным смехом особенно удачные места. А Дориан Грей все это время сидел, словно заипнотизированный, вперившись глазами в лорда Генри. По его губам то и дело пробегала зачарованная улыбка, а в потемневших глазах изумление сменялось благоговением.

Внезапно в наполненную фантастическими миражами комнату бесцеремонно вторглась Реальность в образе слуги, доложившего герцогине, что подан ее экипаж. Герцогиня сделала шутливый жест преувеличенного отчаяния и воскликнула:

— Какая досада! Но хочешь не хочешь, а мне пора ехать. Я должна забрать из клуба супруга, а затем отвезти его на какое-то глупейшее собрание в комнатах Уиллиса[20], на котором ему надлежит председательствовать. Если опоздаю, он ужасно рассердится, а я избегаю каких-либо сцен в этой шляпке: уж слишком она воздушная! Одно резкое слово — и от нее ничего не останется. Нет-нет, не удерживайте меня, дорогая Агата. До свидания, лорд Генри! Вы совершенно восхитительны и в то же время вы сущий разрушитель морали. Я, право, не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать как-нибудь вечером. Скажем, во вторник. Вы никуда не приглашены на вторник?

— Ради вас, герцогиня, я кому угодно готов отказать, — проговорил с поклоном лорд Генри.

— Ах, как это мило с вашей стороны и нехорошо в то же время! — воскликнула герцогиня. — Смотрите же, лорд, приезжайте.

И она, в сопровождении леди Агаты и других дам, величаво выплыла из комнаты.

Когда лорд Генри возвратился на место, к нему подсел мистер Эрскин и проговорил, положив руку ему на плечо:

— Вы говорили так складно, будто читали вслух какую-то книгу. Так почему бы вам не написать ее на самом деле?

— Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, чтобы самому их писать. Хотя мне действительно хотелось бы написать роман — роман столь же прекрасный, как персидский ковер, и столь же нереальный. Но в Англии читают только газеты, учебники и энциклопедии. Англичане, в отличие от всех других народов, совершенно не ценят прекрасное в литературе.

— Боюсь, тут вы правы, — отозвался мистер Эрскин. — Я и сам когда-то мечтал стать писателем, но давно отказался от этой мысли. А теперь, мой дорогой юный друг, — если мне будет позволено вас так называть, — я хотел бы задать вам один вопрос: вы и в самом деле верите в то, что говорили нам за обедом?

— Я уже и не помню, что говорил, — улыбнулся лорд Генри. — Наверно, это была какая-то чушь?

— Полнейшая чушь. По правде сказать, вы мне кажетесь человеком чрезвычайно опасным, и, если с нашей милой герцогиней случится какая-нибудь беда, все мы будем считать виновником прежде всего вас. И тем не менее мне было бы любопытно побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения ужасно скучны. Когда вы почувствуете, что устали от Лондона, приезжайте ко мне в Тредли, и там, за стаканом чудесного бургундского, которое, счастлив сообщить вам, у меня имеется в предостаточном количестве, вы мне подробно изложите свою философию наслаждений.

— С величайшим удовольствием. Сочту за честь побывать у вас в Тредли, где столь радушный хозяин и такая замечательная библиотека.

— Вы ее украсите своим присутствием, — отозвался старый джентльмен с учтивым поклоном. — Ну а теперь пойду попрощаюсь с вашей очаровательной тетушкой. Мне пора отправляться в Атенеум[21], дабы успеть к тому времени, когда мы обычно там собираемся, чтобы сообща подремать.

— В полном составе, мистер Эрскин?

— Да, все сорок человек в сорока креслах. Таким образом мы готовимся стать Английской академией литературы.

Лорд Генри рассмеялся и тоже встал.

— Ну а я отправляюсь в Парк[22], — проговорил он вслед мистеру Эрскину.

Когда он выходил из комнаты, его остановил Дориан Грей.

— Можно мне с вами? — спросил юноша, коснувшись его руки.

— Но вы, кажется, обещали Бэзилу Холлуорду заглянуть к нему сегодня в студию, — ответил лорд Генри.

— Мне больше хочется побыть с вами. Да, я определенно чувствую, что должен пойти с вами. Прошу вас, позвольте. И обещайте, что будете все время со мной разговаривать. Никто так интересно не говорит, как вы.

— О, я уже сегодня достаточно наговорился! — улыбнулся лорд Генри. — Сейчас я предпочел бы просто гулять по парку и молча созерцать жизнь. Что ж, раз вам так хочется, идемте созерцать вместе.

Глава IV

Однажды, спустя месяц, Дориан Грей, удобно расположившись в роскошном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри, в его доме в Мейфэре[23]. Это была по-своему очаровательная комната, с высокими дубовыми панелями, светло-кремовым фризом, лепным потолком и покрывавшим пол мягким, кирпично-красным ковром, по которому были разбросаны шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На миниатюрном столике красного дерева стояла статуэтка работы Клодиона[24], а рядом лежал экземпляр «Les Cent Nouvelles»[25], переплетенный для Маргариты Валуа[26] искусными руками Кловиса Эва[27] и украшенный тиснеными золотыми маргаритками, выбранными королевой в качестве своей эмблемы. На каминной полке красовались попугайные тюльпаны в больших голубых фарфоровых вазах. Через окно с тонким свинцовым переплетом лился абрикосовый свет летнего лондонского дня.

Лорд Генри еще не возвращался. Он как всегда опаздывал, поскольку считал, что пунктуальность — вор времени. Юноша, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированное издание романа «Манон Леско»[28], обнаруженного им в одном из книжных шкафов. Монотонное тиканье часов в стиле Людовика XIV только раздражало Дориана. Он уже начинал подумывать о том, чтобы уйти, не дождаввшись хозяина, как послышались звуки шагов, и дверь открылась.

— Как, однако, вы поздно, Гарри! — недовольно проговорил Дориан.

— Сожалею, но это не Гарри, мистер Грей, — ответил чей-то пронзительный голос.

Дориан поспешно обернулся и вскочил.

— Простите! Я думал...

— Вы думали, это мой муж. Но это всего лишь его жена, — разрешите представиться. Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям. Думаю, их у моего супруга семнадцать.

— Не может быть, чтобы семнадцать, леди Генри!

— Ну, значит, восемнадцать... А кроме того, я на днях видела вас вдвоем в опере.

Говоря, она нервно посмеивалась и не сводила с Дориана своих голубых, как незабудки, глаз. Это была странная женщина. Взгляд ее казался отсутствующим, а ее туалеты имели такой вид, словно были задуманы в припадке ярости и надеты в разгар разбушевавшейся бури. Леди Уоттон вечно была в кого-нибудь влюблена, но всегда безответно, и это помогало ей сохранять все ее иллюзии. Стараясь казаться как можно более живописной, она выглядела скорее неряшливой. Звали ее Викторией, и ее страсть часто ходить в церковь превратилась в манию.

— Вы видели нас на «Лознгрине»[29], леди Генри?

— Да, на божественном «Лознгрине». Музыка Вагнера я люблю больше всего на свете. Она такая восхитительно громкая, что можно болтать хоть весь вечер, не боясь, что тебя услышат соседи; это одно из ее главных достоинств. Вы согласны со мной, мистер Грей?

С ее тонких губ сорвался все тот же отрывистый, нервный смешок, и она принялась вертеть в пальцах длинный черепаховый нож для разрезания бумаги.

Дориан с улыбкой покачал головой:

— Боюсь, я с вами не могу согласиться, леди Генри. Я никогда не разговариваю во время исполнения музыки, по крайней мере, хорошей музыки. Другое дело — музыка плохая. Ее мы просто обязаны заглушать разговором.

— Но вы ведь повторяете слова Гарри, ведь правда, мистер Грей? Я постоянно слышу от друзей Гарри его суждения по разному поводу. Только так о них и можно узнать. Ну а что касается музыки... не думайте, что я ее не люблю. Хорошую музыку я обожаю, но боюсь ее — она настраивает меня на слишком романтический лад. Пианистов я прямо-таки боготворю, иногда сразу двоих, как шутит Гарри. Не знаю, что меня привлекает в них... Может быть, то, что они иностранцы. Они ведь, кажется, все иностранцы? Даже те, что родились в

Англии, со временем становятся иностранцами, не так ли? И правильно делают, потому что это придает их искусству дополнительную привлекательность, делает его космополитичным — согласитесь, мистер Грей... Кстати, вы ведь, кажется, еще не бывали ни на одном из моих званых вечеров? Приходите непременно. Орхидей я себе не могу позволить, но на иностранцев денег не жалею — они придают гостиней такой живописный вид! А вот и Гарри! Гарри, я заехала домой специально для того, чтобы увидеть тебя и спросить тебя кое о чем — вот только не помню, о чем, — и неожиданно нашла здесь мистера Грея. Мы с ним очень мило поболтали о музыке. И абсолютно сошлись во мнениях... впрочем, кажется, наоборот — абсолютно разошлись во мнениях. Но все равно, мне было очень приятно, и я рада, что мы познакомились.

— Я в восторге, моя любовь, в совершенном восторге, — сказал лорд Генри, приподнимая изогнутые темные брови и глядя на обоих со слегка иронической улыбкой. — Извините, что заставил вас ждать, Дориан. Я ездил на Уорддор-стрит[30], чтобы взглянуть на кусок старинной парчи, и мне пришлось торговаться с хозяином лавки целую вечность. В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить.

— Сожалею, но вынуждена вас покинуть! — воскликнула леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание своим неожиданным и легкомысленным смехом. — Я обещала герцогине отправиться с ней кататься. Прощайте, мистер Грей! До свидания, Гарри. Ты, надо думать, обедаешь сегодня в гостях? Я тоже. Надеюсь, увидимся у леди Торнбери.

— Я тоже на это надеюсь, дорогая, — ответил лорд Генри, провожая ее до двери.

Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь провела под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване.

— Не вздумайте жениться на женщине с соломенными волосами, — произнес он, несколько раз затаившись.

— Почему, Гарри?

— Потому что они ужасно сентиментальны.

— Но мне нравятся сентиментальные люди.

— Жениться, Дориан, в любом случае не имеет смысла. Мужчины женятся, устав от холостой жизни, женщины выходят замуж из любопытства. И тех, и других ждет разочарование.

— А я и не собираюсь жениться, Гарри. Для этого я слишком влюблен. Это, кстати, ваш афоризм. И я его применяю на практике, как и всё, что вы говорите.

— И в кого же, интересно, вы влюблены? — спросил лорд Генри после некоторого молчания.

— В одну актрису, — краснея, ответил Дориан Грей.

— Довольно банальный дебют, — пожал лорд Генри плечами.

— Вы бы так не говорили, если бы ее увидели, Гарри.

— Так кто же она?

— Ее зовут Сибилла Вейн.

— Никогда не слыхал о такой актрисе.

— Никто пока не слыхал. Но когда-нибудь все услышат. Потому что она настоящий гений.

— Мой мальчик, женщины никогда не бывают гениями. Они — чисто декоративный пол. Им нечего сказать миру, но говорят они это очень мило. Женщины являют собой торжество материи над разумом, а мужчины — торжество разума над моралью.

— Гарри, как вы можете говорить такое!

— Но, дорогой мой Дориан, это ведь так и есть. Я в настоящее время занимаюсь изучением женщин с сугубо научной точки зрения, поэтому знаю что говорю. Предмет изучения, кстати сказать, оказался не таким уж и сложным. Мне удалось установить, что женщин можно подразделить на две основные категории: некрасивых и накрашенных. Некрасивые женщины чрезвычайно полезны. Если вы хотите приобрести репутацию респектабельного человека, вам нужно появляться в обществе только с такими женщинами. Женщины второй категории очаровательны, но совершают одну ошибку: они красятся главным образом для того, чтобы казаться моложе, а вот наши бабушки красились, чтобы казаться остроумными собеседницами: в те времена «goose»[31] и «esprit»[32] всегда сопутствовали друг другу. Нынче же все не так. Если современной женщине удастся выглядеть на десять лет моложе своей дочери, она счастлива, и ей больше ничего не нужно. Ну а что касается умения вести беседу, то во всем Лондоне есть только пять женщин, с которыми интересно поговорить, да и то две из них не могут быть допущены в приличное общество... И все-таки расскажите поподробнее про вашего гения. Давно ли вы с ней знакомы?

— Ах, Гарри, ваши взгляды и наблюдения приводят меня в ужас.

— Не обращайтесь на них внимания. Так когда же вы с ней познакомились?

— Примерно три недели назад.

— И где вы ее впервые увидели?

— Я вам сейчас всё расскажу, Гарри, но только обещайте слушать меня без насмешек и иронических замечаний. В конце концов, не будь я с вами знаком, со мной бы этого никогда не случилось: ведь именно вы разбудили во мне желание познать в этой жизни как можно больше. После нашей встречи у Бэзила я утратил покой, мне все время казалось, что внутри у меня трепещет каждая жилка. Прогуливаясь по парку или по Пиккадилли, я с жадным любопытством всматривался в прохожих, пытаюсь угадать, какую они ведут жизнь. Некоторые казались мне привлекательными, другие внушали страх. В воздухе витало что-то восхитительно ядовитое. Мною владело страстное желание испытать новые ощущения... И вот как-то вечером, около семи часов, я отправился бродить по городу в поисках приключений. Я чувствовал, что этот наш серый, чудовищный Лондон с его мириадами жителей, его гнусными грешниками и восхитительными прегрешениями, как вы однажды выразились, готовит для меня нечто необыкновенное. Мне представлялись самые невероятные неожиданности. Даже возможность опасностей приводила меня в восторг. Я хорошо помнил ваши слова, услышанные мной в тот чудесный вечер, когда мы впервые обедали вместе: «Самая великая тайна жизни — это вечное стремление человека к поискам красоты». Не знаю, что я собирался искать, но я вышел из дому и побрел в восточном направлении[33]. Вскоре я заблудился среди бесконечного лабиринта грязных улиц и черных, лишенных зелени, площадей. Где-то около половины девятого я проходил мимо какого-то жалкого театрика с большими, ярко горящими газовыми рожками и кричащими афишами на стенах. У входа стоял отталкивающего вида еврей в диковинном жилете и курил зловонную сигару. У него были сальные, колечками, волосы, а на давно не стиранной рубашке сверкал огромных размеров бриллиант. «Не угодно ли ложу, милорд?» — спросил он, увидев меня, и с подобострастным, но в то же время величественным видом снял шляпу. Это гротескное существо показалось мне даже забавным — уж слишком чудовищный у него был вид. Я знаю, Гарри, вы станете надо мной смеяться, но неожиданно для себя я вошел туда и, заплатив целую гинею, занял место в ложе у сцены. До сих пор не пойму, что заставило меня так поступить, но, не войди я в этот театр — ах, дорогой Гарри, мне даже страшно подумать: я мог бы пройти мимо самого большого чувства в своей жизни!.. Вижу, вы все-таки смеетесь. С вашей стороны это невеликодушно!

— Я не смеюсь, Дориан, а если и смеюсь, то не над вами. Но вы слишком торопитесь объявлять это самым большим в вашей жизни чувством. Точнее будет сказать, что это ваше первое чувство. Женщины всегда будут любить вас самого, а вы всегда будете влюблены в саму любовь. *Grande passion*[34] — это занятие преимущественно для тех, кому нечем себя занять, а для праздных классов это единственное развлечение. Так что можете мне поверить, у вас впереди еще множество восхитительных переживаний, и это ваше «большое чувство» — лишь первая ласточка.

— Неужели вы считаете меня настолько поверхностным человеком? — воскликнул Дориан Грей, уязвленный скептицизмом своего друга.

— Напротив, я считаю, что у вас глубоко чувствующая натура.

— Что-то я вас не пойму, Гарри.

— Мой дорогой, поверхностные люди — это как раз те, кто любит один раз в жизни. То, что они считают преданностью и верностью, — на самом деле или косность привычки, или отсутствие воображения. Постоянство в эмоциях, равным образом как и излишняя последовательность в мышлении, — это попросту признание своего бессилия. Уж эта мне верность! Когда-нибудь я подробнее займусь анализом этого качества. Собственнический инстинкт — вот что такое верность. Мы многое бы выбрасывали, если б не боялись, что выброшенное тут же подберут другие... Но не буду перебивать вас. Прошу вас, продолжайте.

— Ну так вот, я оказался в ужасной, крошечной ложе на одного человека, расположенной у самой сцены, а прямо передо мной красовался грубо размалеванный занавес. Я наклонился вперед и, выглянув из ложи, стал осматривать зал. Он был отделан в кричаще безвкусном стиле, со всеми этими купидонами и рогами избытия, какими обычно украшают дешевые свадебные торты. Галерея и задние ряды партера были почти целиком заполнены, а вот передние два ряда, составленные из выцветших, замызганных кресел, пустовали, да и в бельэтаже, если его можно так назвать, не было ни души. По проходам ходили женщины, предлагая апельсины и имбирное пиво, и не было в зале ни единого человека, который не грыз бы орехов.

— Должно быть, именно так выглядел театр в славные дни расцвета английской драмы.

— Да, скорее всего, и это произвело на меня удручающее впечатление. Я уже начал подумывать, а стоит ли мне там оставаться, как вдруг мой взгляд упал на театральную программу. И как вы думаете, Гарри, что там

играли?

— Ну, какой-нибудь водевиль с таким, например, названием: «Юный дуралей, или Простодушный тупица». Наши отцы обожали такого рода вещицы. А вообще, Дориан, чем больше я живу на свете, тем все больше убеждаюсь: что было достаточно хорошо для наших родителей, для нас уже далеко не так хорошо. В искусстве, как и в политике, *les grands ont toujours tort*[35].

— Так вот, пьеса, которую мне предстояло смотреть, достаточно хороша для любых поколений: «Ромео и Джульетта». Да, представьте себе, Шекспир! Признаться, поначалу меня ужаснула мысль увидеть творение великого драматурга на сцене подобного балагана. Ну а потом мною вдруг овладело какое-то странное любопытство. Так или иначе, я решил дожидаться первого действия. Оркестр, которым управлял молодой иудей, сидевший за разбитым пианино, был настолько чудовищный, что, когда он заиграл вступительную мелодию, я чуть было не сбежал из зала, но вот наконец поднялся занавес, и представление началось. Роль Ромео играл пожилой тучный джентльмен с фигурой, точно пивная бочка, с наведенными жженой пробкой бровями и с сиплым голосом пьющего трагика. Меркуцио был ненамного лучше. Его роль исполнял какой-то комик, причем самого низкого пошиба; он то и дело вставлял в свои монологи низкопробные шуточки из своего репертуара, пользовавшиеся у галерки большим успехом. Оба актера были так же нелепы, как и декорации, на фоне которых они играли, и все это более всего напоминало ярмарочный балаган. Но вот Джульетта!.. Ах, Гарри, представьте себе девушку, которой едва минуло семнадцать, с нежным, как цветок, лицом, с греческой головкой, украшенной заплетенными и уложенными в кольца темно-каштановыми волосами, с фиолетовыми, точно лесные озера, исполненными страсти глазами, с губами, словно лепестки роз. Впервые в жизни я видел такую дивную красоту! Вы мне однажды сказали, что вас трудно чем-то разжалобить, и лишь красота, одна только красота способна вызвать слезы на ваших глазах. Так вот, Гарри, я почти не видел этой девушки из-за туманивших мои глаза слез. А что за голос! Никогда раньше мне не приходилось слышать такого голоса! Вначале он звучал очень тихо; его сочный, глубокий тон и проникновенные интонации создавали иллюзию, будто девушка обращается к каждому зрителю в отдельности. Потом он стал громче, напоминая флейту или звучащий где-то вдали гобой. А во время сцены в саду в нем послышался трепетный восторг, подобный тому, которым перед наступлением рассвета наполняется пение соловья. Ну а дальше, по мере накала эмоций, были такие моменты, когда он поднимался до иступленной страстности скрипки. Вы ведь и сами знаете, как могут волновать нашу душу голоса. Ваш голос и голос Сибиллы Вейн — вот те два голоса, которые до самых последних дней будут звучать у меня в душе. Стоит закрыть глаза, как я начинаю их слышать, и каждый из них говорит мне что-то свое. Я даже не знаю, какой из них слушать... Разве я мог не полюбить ее? Да, Гарри, я боготворю ее. В ней теперь вся моя жизнь. Каждый вечер я хожу смотреть, как она играет. Сегодня она Розалинда[36], завтра — Имоджена[37], а послезавтра еще кто-нибудь. Я видел, как она целует возлюбленного в горькие от яда уста, а затем умирает под мрачными сводами итальянского склепа[38]. Я следовал за ней взглядом, когда она бродила по Арденнскому лесу в образе миловидного юноши в камзоле, чулках и изысканном головном уборе[39]. Я с волнением смотрел, как она, обезумевшая, является к королю, на котором лежит печать тяжкой вины, и дает ему руту, чтобы он всегда носил ее с собой, и разные травы, чтобы он вкусил их горечь[40]. А вот она в образе воплощенной невинности[41], и черные руки ревности душат ее, сжимая тонкую, как тростник, шею. Я видел ее в какие угодно века и в каких угодно костюмах. Обычные женщины никогда не волнуют нашего воображения. Они всегда остаются в пределах своего времени. Им не дано преображаться словно по волшебству. Нам так же хорошо известны их мысли, как и шляпки, которые они носят. Нам нетрудно читать в их душе. В них нет никакой тайны. Утром они ездят верхом в Гайд-Парке, а днем болтают за чаем в обществе себе подобных. У них одинаковые улыбки и одни и те же манеры. Они для нас — открытая книга. Но актрисы! Актрисы ни на кого не похожи. Скажите, Гарри, почему вы мне ни разу не говорили, что любить стоит только актрис?

— Именно потому, что я любил столь многих из них.

— Вы, небось, имеете в виду этих ужасных женщин с крашеными волосами и размалеванными лицами.

— Не говорите столь пренебрежительно о крашенных волосах и размалеванных лицах, Дориан! Порою в них скрыто удивительное очарование.

— Право, лучше бы я вам не рассказывал о Сибилле Вейн!

— Вы просто не могли поступить иначе. Вам суждено всю жизнь рассказывать мне обо всем, что с вами происходит.

— Да, Гарри, пожалуй, вы правы. Я ничего не могу от вас скрывать. Вы имеете на меня какое-то непостижимое влияние. Даже если бы я совершил преступление, я все равно пришел бы к вам и признался. Вы

смогли бы меня понять.

— Люди, подобные вам, — эдакие капризные, лучезарные дети жизни — не совершают преступлений. Но все равно, Дориан, я вам очень признателен за комплимент. А теперь скажите-ка мне — прошу вас, протяните мне спички... спасибо — так вот, скажите мне, как далеко зашли ваши отношения с Сибиллой Вейн?

Дориан вскочил на ноги, щеки его пылали, глаза гневно сверкали.

— Гарри, не смейте так говорить о Сибилле Вейн! Она не такая, как все; она святая!

— Святое, а значит, неприкосновенное — это единственное, к чему стоит прикасаться, Дориан, — произнес лорд Генри с неожиданным оттенком грусти в голосе. — Ну что вы так сердитесь? Ведь все равно рано или поздно она будет вашей. Когда человек влюблен, он сначала обманывает себя, а потом обязательно и других. Это и принято называть романом. Надеюсь, вы хоть познакомились с ней?

— Да, разумеется. В первый вечер, как я появился в этом театре, тот ужасный старый еврей зашел после спектакля ко мне в ложу и предложил провести меня за кулисы, чтобы познакомить с Джульеттой. Я с возмущением ответил ему, что Джульетта умерла много столетий назад и что прах ее покоится в мраморном склепе в Вероне. Судя по озадаченно-изумленному выражению его лица, он, видимо, подумал, что я выпил слишком много шампанского.

— И неудивительно.

— Затем он спросил меня, не пишу ли я для газет. Я ответил, что даже не читаю их. Он, видимо, был сильно разочарован и тут же пожаловался мне, что все театральные критики в заговоре против него и что все они, до единого, продажны.

— Тут, пожалуй, он прав. Впрочем, судя по тому, как газетчики выглядят, в большинстве своем они недорого стоят.

— Но ему они все равно не по карману! — со смехом сказал Дориан. — Пока мы с ним так беседовали, в театре стали гасить огни, и я собрался уходить. Но он еще некоторое время не отпускал меня, навязывая какие-то сигары, однако я от них отказался. В следующий вечер я, конечно, снова пришел туда. Когда хозяин увидел меня, он отвесил мне низкий поклон и стал уверять меня, что я по праву могу быть назван щедрым меценатом. Пренеприятный субъект, но, как ни удивительно, страстный поклонник Шекспира. Его театр прогорал пять раз, но причина, как он однажды с гордостью мне признался, была одна — любовь к великому «барду» (так он привык называть Шекспира). Он, по-видимому, считает огромной своей заслугой никогда не вылезать из банкротств.

— И он прав. Большинство людей становятся банкротами по прямо противоположной причине: они слишком много вкладывают в прозу жизни. А разориться из-за любви к поэзии — это действительно большая заслуга... Но лучше скажите, когда вы впервые заговорили с мисс Сибиллой Вейн?

— В третий вечер, когда она играла Розалинду. Я не выдержал и все-таки пошел к ней за кулисы. А до этого я ей бросил цветы, и она на меня посмотрела — по крайней мере, мне так показалось. Ну а старый еврей не отставал от меня, решив во что бы то ни стало отвести меня к ней. И я наконец сдался и уступил... Не правда ли, странно, что я не хотел с ней знакомиться?

— Нет, мне так не кажется.

— Интересно, почему, Гарри?

— Я объясню, но как-нибудь в другой раз. А сейчас мне хотелось бы послушать о девушке.

— О Сибилле? Знаете, она так застенчива, так кротка. В ней есть что-то совсем еще детское. Когда я стал восторгаться ее игрой, глаза ее широко раскрылись с очаровательным выражением искреннего удивления, как если бы она совершенно не сознавала, какой способностью воздействовать на людские души наделила ее природа. Мне кажется, мы оба немного нервничали. Старый еврей стоял, ухмыляясь, в дверях пыльной гримерной и все время бормотал что-то витиеватое о нас с Сибиллой, а мы с ней молча смотрели друг на друга, как дети. Старик упорно продолжал величать меня «милордом», так что я вынужден был уверить Сибиллу, что на самом деле я вовсе не лорд. Она ответила очень мило и несколько простодушно: «Вы скорее похожи на принца; я так и буду вас называть — „Прекрасный Принц“».

— Что ж, мисс Сибилла умеет говорить комплименты.

— Нет, Гарри, вы не так поняли ее слова. Она восприняла меня, как если бы я был персонажем из какой-то пьесы. О жизни она ничего не знает. Живет она с матерью, уставшей, увядшей женщиной, которая в тот первый вечер, когда я оказался в этом театре, играла леди Капулетти[42] в каком-то дешевом платье ядовито-красного цвета. По ней сразу видно, что лучшие ее дни уже позади.

— Да, я знаю, как выглядят такие женщины. Их вид всегда действует на меня удручающе, — произнес

лорд Генри, рассматривая свои перстни на пальцах.

— Старик все порывался поведать мне ее историю, но я сказал, что меня она не интересует.

— И правильно сделали. Слушать истории о чужих драмах — неблагоприятное занятие.

— Меня интересует одна лишь Сибилла, и мне дела нет до того, из какой она семьи и кто ее родители. А она само совершенство — от ее прекрасной головки до маленьких ножек. Каждый божий день я хожу смотреть на нее в представлениях, и с каждым днем она кажется мне все обворожительнее.

— Так вот почему вы больше со мной не обедаете! Я, признаться, подозревал нечто в этом роде, но никак не ожидал, что вы влюбитесь до такой степени.

— Но, дорогой Гарри, мы с вами завтракаем или ужинаем вместе каждый день, и я несколько раз ездил с вами в оперу, — воскликнул Дориан, удивленно глядя на друга своими голубыми глазами.

— И вы всегда ужасно опаздываете.

— Поймите, Гарри, я уже не могу жить, не увидев Сибиллу на сцене, — порывисто произнес Дориан, — хотя бы в одном акте. Я испытываю неодолимую потребность в ее обществе. Когда я думаю о чудесной душе, которая заключена в этом хрупком, словно выточенном из слоновой кости теле, меня охватывает благоговейный трепет.

— Но сегодня, надеюсь, вы сможете пообедать со мной?

Дориан покачал головой:

— Сегодня вечером она Имоджена, завтра — Джульетта.

— А когда, интересно, она Сибилла Вейн?

— Боюсь, никогда.

— Что ж, я вас поздравляю!

— Ах, Гарри, не будьте таким несносным! Поймите, в ней живут все великие героини мира! Она бесконечно многолика. Вы смеетесь? А я вам говорю: она гений. Я люблю ее, и я сделаю все, чтобы она тоже меня полюбила. Вам, Гарри, известны все тайны жизни — так научите меня, чем приворожить Сибиллу Вейн? Я хочу быть счастливым соперником Ромео и заставить его ревновать, хочу, чтобы все когда-то жившие на земле влюбленные услышали наш смех и почувствовали к нам зависть, чтобы дыхание нашей страсти пробудило их прах и заставило их страдать. Боже мой, Гарри, если б вы знали, как я ее обожаю!

Дориан вскочил и принялся ходить по комнате. На щеках у него выступили пятна лихорадочного румянца. Он был ужасно взволнован.

Лорд Генри наблюдал за ним, испытывая в душе тайное удовольствие. Как непохож был сегодняшний Дориан на того застенчивого, робкого мальчика, с которым он познакомился в студии Бэзила Холлуорда! Все его существо раскрылось, словно экзотический цветок, зажглось ярко-алым цветением. Душа его вышла из потаенного убежища, и Желание поспешило ей навстречу.

— И что же вы намерены делать? — спросил наконец лорд Генри.

— Прежде всего я хочу, чтобы вы с Бэзилем побывали на одном из спектаклей и увидели, как она играет. У меня нет ни малейших сомнений, что вы оцените ее талант. Ну а затем, я думаю, нам нужно будет вырвать ее из лап этого старика. Она связана с ним контрактом на три года — собственно, на сегодняшний день осталось два года и восемь месяцев. Разумеется, я должен буду что-то ему заплатить. А когда все будет улажено, я устрою ее в какой-нибудь театр в Уэст-Энде, и тогда публика сможет увидеть ее во всем блеске. Она сведет с ума весь мир, точно так же как свела с ума меня.

— Ну, это вы уже чересчур хватили, мой друг!

— Уверяю вас. Она обладает не только замечательным артистическим чутьем, но и яркой индивидуальностью; словом — она личность. А ведь вы сами мне не раз говорили, что миром движут личности, а не идеи.

— Ну хорошо, когда мы идем в ваш театр?

— Дайте подумать... Так, сегодня вторник. Что если завтра? Завтра она играет Джульетту.

— Договорились. Встретимся в восемь, в «Бристоле». Я привезу с собой Бэзила.

— Только не в восемь, Гарри, а в полседьмого. Мы должны быть в театре до поднятия занавеса. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели ее в той сцене, когда она впервые встречается с Ромео.

— В полседьмого, в такую рань! Да это все равно что пить чай с селедкой или, скажем, читать английский роман. Нет, как минимум в семь. Ни один порядочный человек не обедает раньше семи. Может, вы сами заедете к Бэзилу? Или мне написать ему?

— Милый Бэзил! Сегодня будет неделя, как я не показывался у него. Это свинство с моей стороны,

особенно после того как он прислал мне мой портрет в великолепнейшей раме, выполненной по его собственному рисунку. И хоть я слегка ревную к портрету — ведь он на целый месяц моложе меня — я от него в полном восторге. Пожалуй, будет лучше, если вы напишете Бэзилу. Мне не хотелось бы с ним встречаться наедине — все, что он говорит, раздражает меня. Он только и делает что дает мне добрые советы.

Лорд Генри улыбнулся:

— Люди часто отдают другим то, в чем сами больше всего нуждаются. Вот что я называю настоящим великодушием!

— О, Бэзил — прекраснейший из людей, но, по-моему, он немного ханжа. Я это понял после того, Гарри, как познакомился с вами.

— Видите ли, мой юный друг, всё самое лучшее, что есть в Бэзиле, он вкладывает в свои картины. А потому для каждодневной жизни ему остаются только предрассудки, моральные принципы и здравый смысл. Из всех художников, которых я лично знал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые же личности живут только тем, что творят, поэтому сами по себе неинтересны. Великий поэт — подлинно великий поэт — самое непоэтическое существо на свете. Но второразрядные поэты — люди просто обворожительные. Чем невыразительнее их поэзия, тем живописнее они выглядят. Если человек выпустил книжку плохих сонетов, можно заранее сказать, что он совершенно неотразим. Жизнь такого человека наполнена той поэзией, которую он не в состоянии выразить в своих стихах. А великие поэты изливают на бумаге ту поэзию, которую не осмеливаются вносить в свою жизнь.

— Не знаю, действительно ли это так, — задумчиво проговорил Дориан Грей, смачивая носовой платок несколькими каплями духов из стоявшего на столе большого флакона с золотой пробкой. — Но, должно быть, вы правы... А сейчас мне пора уходить: меня ждет Имоджена. Не забудьте о завтрашней встрече. Прощайте.

Оставшись один, лорд Генри полузакрыв глаза и задумался. Да, мало кто в жизни интересовал его так, как Дориан Грей, однако то обстоятельство, что юноша обожает кого-то другого, не вызвало у него ни досады, ни ревности. Напротив, он был этому рад: теперь Дориан становился еще более любопытным объектом для изучения. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами естествоиспытателей, но область их исследований находил скучной и бесполезной. Свои собственные изыскания он начал с того, что подверг вивисекции самого себя, а закончил тем, что стал подвергать вивисекции других. Жизнь человеческая — вот что казалось ему единственно достойным предметом для изучения. В сравнении с этим все остальное вряд ли чего-то стоило. Правда, тот, кто наблюдает жизнь с близкого расстояния, со всеми кипящими в ее горниле горестями и испытаниями, радостями и печалью, не может закрыть свое лицо стеклянной маской и защититься от удушливых паров, дурманящих мозг и порождающих в воображении чудовищные кошмары. Он вынужден иметь дело с ядами столь неощутимыми, что узнать их воздействие невозможно, не отравившись ими, и с недугами столь диковинными, что понять их природу можно, только переболев ими. Зато какая награда ждет его за труды и каким чудесным становится для него мир! Разгадать непостижимую, но последовательную логику страсти и эмоциональную природу интеллекта, установить, где они сходятся, а где расходятся, в какой точке между ними начинается гармония, а в какой дисгармония, — это ни с чем не сравнимое наслаждение! И так уж ли важно, чего это стоит? Никакая цена не может быть слишком высокой за любое ранее не изведенное ощущение.

Лорд Генри не сомневался — и при этой мысли его агатовые глаза ликующе засветились, — что именно сказанные им когда-то слова, музыкальные слова, произнесенные с музыкальными интонациями, побудили душу Дориана Грея обратиться к этой невинной девушке и с благоговением склониться перед нею. Да, юноша был в значительной мере его творением и благодаря ему пробудился к жизни. А это уже немало. Большинство людей ждет, пока жизнь сама не откроет им своих тайн, и лишь немногим избранным дано познать тайны жизни прежде, чем над ними приподнимется завеса. Иногда это бывает под влиянием искусства и литературы, воздействующих непосредственно на ум и чувства человека, но случается, что эту роль берет на себя какая-нибудь совершенная личность, сама являющаяся произведением искусства, ибо у Жизни, как и у поэзии, скульптуры или живописи, тоже бывают свои шедевры.

Возможно, пробуждение Дориана преждевременно. Еще не прошла его весна, а он уже собирает урожай. В нем еще не угасли пыл и порывистость юности, а он уже научился смотреть на себя со стороны. Но наблюдать за ним — ни с чем не сравнимое удовольствие! Этот мальчик с прекрасным лицом и прекрасной душой не перестает изумлять. И разве так уже важно, чем все это закончится и закончится ли вообще? Он подобен тем элегантным персонажам в пьесах или живых картинах, чьи радости оставляют нас равнодушными, но чьи страдания пробуждают в нас чувство прекрасного и чьи раны подобны красным розам.

Душа и плоть, плоть и душа — их сочетание непостижимо! В душе есть что-то от плоти, а плоти свойственна тяга к духовному. Чувства точно так же могут облагораживаться, как и разум деградировать. Кто может сказать, когда умолкает плоть и начинает говорить душа? Как нечетки критерии, определяющие границу между ними, — критерии, столь упорно отстаиваемые большинством психологов! Существует великое множество направлений психологической мысли, и решить, какое из них ближе к истине, попросту невозможно. Действительно ли душа — лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или же, напротив, плоть — как полагал Джордано Бруно — помещена внутрь души? Как размежевать дух и материю? Это всегда оставалось загадкой. Но как они могут существовать в неразрывном единстве — это еще более непостижимо.

Интересно, подумал лорд Генри, станет ли когда-нибудь психология настолько точной наукой, чтобы суметь объяснить нам природу самых неуловимых движений души? Ведь пока что мы никогда не можем понять других и редко когда понимаем самих себя. Жизненный опыт не делает человека нравственнее. Опытом люди называют свои ошибки. Моралисты же видят в опыте средство предостережения и считают, что он помогает формированию нравственности и характера человека. Они превозносят его за то, что он якобы учит нас, что можно делать, а чего нельзя. Но опыт не обладает побудительной силой. Он точно так же не побуждает к действию, как и совесть. По существу, он лишь помогает нам понять, что нас ожидает такое же будущее, каким было прошлое, и что совершенные нами когда-то грехи, которые мы считали отвратительными и за которые нам было стыдно, мы повторим еще много раз — но уже с удовольствием.

Лорд Генри был совершенно уверен, что научный анализ страстей возможен только с применением экспериментального метода и что Дориан Грей — в высшей степени подходящий и многообещающий объект для такого рода исследований. Внезапно вспыхнувшее чувство юности к Сибилле Вейн с психологической точки зрения представляло собой необыкновенно интересный феномен. Несомненно, немалую роль в пробуждении этой любви сыграли любопытство и жажда новых ощущений, но это было далеко не полное объяснение. Лежащее в основе этой любви стремление к противоположному полу, столь естественное в юноше, было, в результате работы воображения, трансформировано в нечто, кажущееся самому Дориану весьма далеким от чувственности, и именно поэтому его увлечение следует считать опасным. Страсти, природу которых мы не можем понять, властвуют над нами особенно сильно. Чувствами же, происхождение которых у нас не вызывает сомнений, мы управляем без труда. Впрочем, подумал лорд Генри не без иронии, зачастую, когда человеку кажется, будто он экспериментирует над другими, на самом деле он экспериментирует над самим собой.

Размышления лорда Генри прервал почтительный стук в дверь, и появившийся на пороге камердинер напомнил ему, что пора переодеваться к обеду. Лорд Генри встал и посмотрел в окно. Заходящее солнце окрасило верхние этажи дома напротив в червонное золото, и стекла окон горели, словно листы раскаленного докрасна металла. Небо над крышами было блекло-розового цвета. Мысли лорда Генри снова возвратились к Дориану, к его расцвеченной в огненные тона юной жизни, и он в который раз спросил у себя, чем все это может кончиться.

Вернувшись домой около половины первого ночи, он нашел на столе в прихожей телеграмму, вскрыл ее и увидел, что она от Дориана Грея. В ней его юный друг сообщал ему о своей помолвке с Сибиллой Вейн.

Глава V

— Ах, мама, как я счастлива! — прошептала девушка, уткнувшись лицом в колени поблекшей, усталого вида женщины, сидевшей спиной к назойливо-яркому свету в единственном кресле, имевшемся в убогой гостиной. — Я ужасно счастлива, мама, и ты тоже должна чувствовать себя счастливой!

Миссис Вейн поморщилась, словно от боли, и, положив худые, неестественно белые от висмутовых белил руки на голову дочери, с горечью проговорила:

— Счастливой? Я счастлива, Сибилла, только когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс к нам необычайно добр, и мы должны ему столько денег...

Девушка подняла голову и, надув губки, воскликнула:

— Ах, мама, что такое деньги в сравнении с любовью!

— Мистер Айзекс дал нам пятьдесят фунтов вперед, чтобы мы расплатились с долгами и смогли снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого, Сибилла. Пятьдесят фунтов — это большая сумма. Мистер

Айзекс нам очень помог.

— Но он не джентльмен, мама, и мне так неприятна его манера со мной разговаривать, — ответила девушка и, встав на ноги, подошла к окну.

— Не знаю, что бы мы без него делали, — ворчливо проговорила миссис Вейн.

Сибилла вскинула голову и рассмеялась:

— Он нам больше не нужен, мама! Теперь в нашей жизни всё будет решать Прекрасный Принц.

И она вдруг умолкла. К лицу ее прихлынула кровь, вспыхнув розами на щеках, лепестки ее трепещущих губ раскрылись в учащенном дыхании. Казалось, над нею пронесся полуденный ветер страсти, всколыхнув складки ее элегантного платья.

— Я так люблю его, мама! — выдохнула она.

— Глупышка! Ах, какая же ты глупышка! — твердила, словно попугай, ее мать, сжимая и разжимая скрюченные, унизанные дешевыми перстнями пальцы, что придавало ее словам какое-то зловещее звучание.

Но девушка опять рассмеялась, и в голосе ее зазвенела радость заключенной в золотую клетку птицы. Глаза ее засияли, подхватив и повторив мелодию смеха, затем сомкнулись, словно стараясь уберечь сокровенную тайну, а когда вновь открылись, были подернуты пеленой заветной мечты.

Ее мать, словно олицетворение узкогубой Мудрости, взывала к дочери из потертого кресла, умоляя ее проявлять благоразумие и осторожность, подкрепляя свои призывы цитатами из Книги малодушия, написанной автором, называющим себя Здравым Смыслом. Сибилла ее не слушала. Она чувствовала себя свободной, как птица, в своей темнице страсти. С ней был ее принц, ее Прекрасный Принц. Она призвала на помощь Память, чтобы воссоздать его образ. Она отправила свою душу на его поиски, и та привела его к ней. Его поцелуй вновь пылал на ее устах, и веки ее согревались его дыханием.

А Мудрость тем временем изменила тактику и стала говорить о необходимости навести справки и установить истинное положение вещей. Этот молодой человек, должно быть, богат. Если это действительно так, то нужно уже думать об оформлении с ним отношений. Но волны житейской предусмотрительности разбивались об ушные раковины Сибиллы, не попадая внутрь, стрелы умудренного коварства пролетали мимо нее. Она лишь видела, как движутся узкие губы Мудрости, но не слышала слов и улыбалась.

Внезапно она почувствовала потребность что-то сказать в ответ. Ее молчание на фоне потока обращенных к ней слов встревожило ее.

— Мама, ах, мама! — воскликнула она. — За что он так любит меня? Я знаю, за что полюбила его — за то, что он прекрасен, как сама Любовь, — но что он нашел во мне? Ведь я его совершенно не стою. И все же, хоть я и понимаю, что ниже его, почему-то — сама не знаю, почему — я не чувствую себя приниженной. Я чувствую себя гордой, ужасно гордой! Мама, скажи, ты любила папу так же сильно, как я Прекрасного Принца?

Лицо ее матери вдруг побледнело под толстым слоем дешевой пудры, сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибилла бросилась к ней, обняла ее и поцеловала.

— Прости меня, мамочка! Я знаю, как больно тебе говорить об отце. И я понимаю — это потому, что ты его так любила. Пожалуйста, не грусти! Сегодня я переполнена счастьем — наверно, как и ты двадцать лет назад. Ах, если бы счастье продолжалось всю жизнь!

— Дитя мое, ты слишком молода, чтобы думать о любви. К тому же, что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже не знаешь его имени. И вообще, у меня и без тебя хватает забот, особенно сейчас, когда Джеймс уезжает в Австралию. Право, ты должна думать и о других... Впрочем, как я уже сказала, если выяснится, что он богат...

— Ах, мама, мама, мне так хочется быть счастливой!

Миссис Вейн взглянула на дочь и с чисто театральной искусственностью, которая у актеров часто становится второй натурой, заключила ее в объятия. В этот момент отворилась дверь, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными каштановыми волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве.

Миссис Вейн устремила свой взгляд на сына, и улыбка ее стала шире. Она воспринимала его в данный момент как публику и была уверена, что они с дочерью смотрятся очень эффектно.

— Могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибилла, — сказал юноша с шутливым упреком.

— Но ты же не любишь, когда тебя целуют, Джим, — отозвалась Сибилла. — Ты ведь у нас настоящий медведь!

Она подбежала к брату и обняла его. Джеймс Вейн нежно заглянул ей в глаза и сказал:

— Пойдем погуляем, Сибилла. Скорее всего, я больше никогда не увижу этот жуткий Лондон, но я не жалею об этом.

— Джеймс, не надо говорить такие ужасные вещи, — пробормотала миссис Вейн и, вздохнув, принялась латать какое-то чудовищно безвкусное театральное платье. Она была немного разочарована, что Джеймс не присоединился к их с Сибиллой трогательной сцене — это намного увеличило бы театральный эффект.

— Я это говорю, потому что так думаю, мама.

— Но ты мне делаешь больно, Джеймс. Надеюсь, ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. Мне кажется, в колониях нет приличного общества — во всяком случае, приличного общества в моем понимании — поэтому, когда тебе удастся нажить состояние, сразу же возвращайся: ты сможешь добиться солидного положения только в Лондоне.

— Приличное общество! — пробурчал парень. — Очень оно мне нужно! Если удастся заработать деньжонок, то первое, что я сделаю, — заберу вас с Сибиллой из театра. Ненавижу его!

— Ах, Джим, какой ты ворчун! — засмеялась Сибилла. — Скажи, ты действительно хочешь пойти со мной погулять? Это было бы просто чудесно! А я думала, ты отправишься прощаться с друзьями — с твоим Томом Харди, который подарил тебе эту противную трубку, или с Недом Лэнгтоном, который смеется над тобой за то, что ты ее куришь. С твоей стороны очень мило, что последний свой день ты решил провести со мной. И куда мы пойдем? Слушай, давай погуляем в Гайд-Парке!

— Нет, я слишком плохо одет, — хмуро ответил Джеймс. — В Гайд-Парке гуляет только шикарная публика.

— Глупости, Джим! — шепнула ему Сибилла, поглаживая рукав его плаща.

— Ну, ладно, — согласился Джеймс после минутного колебания. — Иди одевайся, только не очень долго.

Сибилла, пританцовывая, выпорхнула из гостиной и, напевая, взбежала по лестнице. Вскоре ее легкие шаги послышались в комнате наверху.

Джеймс несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил:

— Кажется, все готово к моему отъезду?

— Да, Джеймс, — односложно ответила миссис Вейн, не поднимая глаз от шитья.

Последние месяцы миссис Вейн чувствовала себя как-то неловко, оставаясь наедине со своим суровым и прямолинейным сыном. Человек, по природе своей неглубокий и неискренний, она приходила в смятение, встречаясь с ним взглядами, и не раз задавала себе вопрос, не подозревает ли он чего-нибудь. А он между тем не произносил больше ни слова, и молчание становилось невыносимым. Тогда заговорила она, напустившись на него с жалобами и упреками. У женщин лучший способ защиты — нападение, а лучший способ нападения — внезапное и необъяснимое отступление.

— Учти, Джеймс, ты сам себе выбрал жизнь моряка, — начала миссис Вейн, — так что ни на кого не пеняй, если она покажется тебе не слишком сладкой. А ведь мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката. Адвокаты пользуются большим уважением в обществе, их приглашают обедать в самые лучшие дома.

— Ненавижу конторы и ненавижу чиновников, — буркнул Джеймс. — И ты совершенно права — я сам выбрал себе такую жизнь. А тебе я скажу одно: береги Сибиллу. Заботься о том, чтобы ничего плохого с ней не случилось. Хорошенько смотри за ней.

— Не понимаю, зачем ты все это говоришь, Джеймс. Разумеется, я буду присматривать за Сибиллой.

— Я слышал, что в ваш театр повадился ходить какой-то молодой человек и что он взял моду заглядывать к ней за кулисы. Это правда? Что ему от нее нужно?

— Ах, Джеймс, ты в этих вещах ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали внимание. Мне тоже когда-то дарили цветы. В те времена умели ценить искусство игры. Ну а что касается Сибиллы... Я не знаю, насколько серьезно ее чувство. Но этот молодой человек — без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной. И по всему заметно, что он богат. А какие чудесные цветы он присылает Сибилле!

— Но ты даже не знаешь его имени! — с напором воскликнул юноша.

— Да, не знаю, — с безмятежным спокойствием ответила его мать. — Он пока еще не открыл своего имени. Но мне кажется, это даже романтично. У меня такое впечатление, что он из аристократических кругов. Джеймс Вейн закусил губу, стараясь себя сдержать.

— Береги Сибиллу, мама! — снова повторил он. — Присматривай за ней!

— Джеймс, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибилле? А кроме того, если этот джентльмен богат, почему бы ей за него и не выйти? Я уверена, он знатного рода. Это по всему видно. Сибилла может сделать блестящую партию, и они будут замечательной парой. Он действительно на редкость красив — все это замечают.

Джеймс проворчал себе что-то под нос и стал барабанить пальцами по стеклу. Когда он вновь повернулся к матери, собираясь ей что-то сказать, отворилась дверь и в комнату вбежала Сибилла.

— Что это вы такие серьезные? — спросила она. — Надеюсь, ничего не случилось?

— А что может случиться? — отозвался Джеймс. — Должны же люди хоть иногда быть серьезными. До свидания, мама. Обедать я буду в пять. У меня все уложено, кроме рубашек, так что ты ни о чем не беспокойся.

— До свидания, Джеймс, — ответила миссис Вейн, кивнув сыну с величественно-холодным видом. Ей очень не понравился тон, которым он разговаривал с ней, и что-то в выражении его лица пугало ее.

— Поцелуй меня, мама, — сказала Сибилла. Ее губы, нежные, как лепестки цветка, коснулись увядшей щеки и растопили иней на ней.

— Моя девочка, моя дорогая девочка! — воскликнула миссис Вейн, поднимая глаза к потолку — туда, где рукоплескала воображаемая галерка.

— Пойдем скорее, Сибилла! — нетерпеливо произнес Джеймс. Он на дух не выносил аффектации любого рода.

Они вышли из дому и отправились по унылой Юстон-роуд к центру города. Солнце, стараясь пробиться сквозь гонимые ветром тучи, то гасло, то вновь ярко вспыхивало. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого, нескладного парня в дешевом, плохо сшитом костюме, и шедшую рядом с ним изящную, грациозную девушку. Эта странная пара напоминала увальня-садовника с изысканной розой.

Джим хмурился, ловя на себе любопытные взгляды. Как и все обычные люди, он не любил, когда на него глазели, — в отличие от знаменитостей, которым всеобщее внимание приедается лишь на закате дней. Сибилла же совершенно не замечала, что ею любуются. В ее смехе звенела радость любви. Думать она могла об одном лишь Прекрасном Принце, но, чтобы оставаться с ним в мыслях наедине, говорила о чем угодно, но только не о нем, — и о корабле, на котором поплывет Джеймс, и о золоте, которое он непременно найдет в своих скитаниях, и о прекрасной наследнице огромного состояния, которую он спасет от австралийских разбойников в красных рубашках. Сибилла и мысли не допускала, что Джеймс может проплавать всю жизнь простым матросом или, в лучшем случае, боцманом. О нет, это не для него — ведь жизнь моряка ужасна! Как это страшно — быть прикованным к кораблю, когда его с грозным ревом атакуют гигантские волны, а свирепый ветер ломает высокие мачты, как спички, и рвет на узкие полосы паруса! Как только корабль бросит якорь в Мельбурне, Джеймс, учтиво распрощавшись с капитаном, отправится, не теряя ни секунды, на золотые прииски. Не пройдет и недели, как он набредет на самородок чистого золота, крупнее которого еще никто и никогда не находил, и под охраной шести конных полицейских перевезет его в фургоне на побережье. По пути на них трижды будут нападать разбойники, но все атаки будут отражены с большими для нападавших потерями... Впрочем, нет, ни на какие прииски он не поедет, ведь каждый из них — это ужасное место: там люди собираются в барах и пьянствуют, а затем стреляют и убивают друг друга; там слишком все сквернословят. Пусть лучше Джеймс станет фермером и займется разведением овец. А однажды, возвращаясь с пастбищ домой, он увидит, как разбойник на черном коне увозит прекрасную девушку, наследницу огромных богатств. Он бросится за ним вдогонку и спасет красавицу. Она, конечно, полюбит его, а он ее, они обвенчаются, а затем вернутся на родину и будут жить в Лондоне, в огромном доме. Да, Сибилла была уверена — Джеймса ждет прекрасное будущее. Но ему нужно быть очень прилежным, никогда не выходить из себя и не тратить попусту деньги.

— Хотя я старше тебя всего лишь на год, — продолжала Сибилла, — жизнь я знаю намного лучше, чем ты, так что заруби себе на носу все, что я тебе сказала. Смотри не забывай мне писать с каждой почтой и обязательно молись перед сном. Господь Бог всемилостив и не оставит тебя, а я тоже буду молиться за тебя каждый вечер. Пройдет немного лет, и ты вернешься домой богатым и счастливым.

Джеймс слушал сестру все с тем же угрюмым видом и ничего не говорил в ответ. Он уезжал из дома с тяжелым сердцем. Но хмурился он не только из-за предстоящей разлуки. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибилле угрожает опасность. От этого молодого денди, который за ней ухаживает, ничего хорошего ждать не приходится. Он ведь джентльмен — и уже поэтому Джеймс ненавидел его, ненавидел безотчетно, в силу какого-то врожденного инстинкта, им не вполне сознаваемого, а потому и всевластного. К тому же, зная легкомысленный и тщеславный характер матери, он видел в этом потенциальную опасность для Сибиллы и ее счастья. В детстве мы очень любим родителей; взрослея, начинаем их осуждать, но прощаем их

крайне редко.

Джеймсу давно хотелось задать матери один вопрос — вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Случайная фраза, услышанная им в театре, глумливый шепот, донесшийся до его ушей однажды вечером, когда он ждал мать у входа в артистическое фойе, породили у него целый ворох пугающих подозрений. Даже воспоминание об этой минуте обожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул теснее брови, так что между ними образовалась глубокая, клинообразная морщина, и с гримасой боли закусил нижнюю губу.

— Ты меня совсем не слушаешь, Джим! — воскликнула Сибилла. — А я стараюсь, строю для тебя такие чудесные планы на будущее! Ну, скажи мне хоть что-нибудь!

— Что, например?

— Ну хотя бы пообещай быть хорошим мальчиком и не забывать нас, — ответила с улыбкой Сибилла.

Джеймс пожал плечами:

— Скорее ты забудешь меня, а не я тебя.

Щеки Сибиллы залил румянец:

— Что ты этим хочешь сказать, Джим?

— Да вот, говорят, у тебя появился дружок. Хотел бы я знать, кто он такой? Почему ты мне о нем ничего не рассказывала? Чует мое сердце, к добру это знакомство не приведет.

— Прекрати, Джим! — воскликнула Сибилла. — Ты не должен плохо о нем говорить. Я люблю его.

— Тебе даже имя его неизвестно, — проворчал Джеймс. — И все-таки, кто он такой? Я, кажется, имею право знать.

— Его звать Прекрасный Принц. Правда, чудесное имя? Запомни его навсегда, глупый мальчик. Если бы ты увидел моего Принца, то сразу бы понял: лучше его никого нет на свете. Вот вернешься из Австралии, и я вас обязательно познакомлю. Он очень тебе понравится, Джим. Он всем нравится, ну а я... я люблю его. Как жаль, что ты сегодня не сможешь пойти в театр. Он обещал приехать, и я сегодня играю Джульетту. Ах, как я ее сыграю! Ты только представь себе, Джим, до чего это замечательно: быть влюбленной — и играть Джульетту, да еще когда в зале присутствует он! Какое счастье играть для него! Я сегодня заставлю рыдать всю публику! Я приведу всех в восторг! Любить — значит превосходить самого себя. Этот ужасный мистер Айзекс будет кричать «она гений!» всяким бездельникам, которые вечно толкуются у него в баре. Он всегда верил в меня, ну а сегодня я даже для него окажусь откровением. Я это чувствую. И все это для него, только для него, для моего Прекрасного Принца, моего возлюбленного, моего божества! Я чувствую себя такой бедненькой рядом с ним... Впрочем, бедность, богатство — какое это имеет значение?! Пословица говорит: бедность вползает через дверь, а любовь влетает в окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Их придумывали зимой, а теперь лето... Хотя для меня сейчас весеннее время, настоящий праздник цветов под голубым небом.

— Но он же джентльмен, — враждебно произнес Джеймс.

— Он Принц! — воскликнула, будто пропела, Сибилла. — И этим все сказано.

— Он хочет поработить тебя.

— А я содрогаюсь при одной только мысли быть снова свободной.

— Остерегайся его, Сибилла!

— Увидев его, невозможно не боготворить его; узнав его, невозможно ему не верить.

— Вижу, Сибилла, он совсем лишил тебя разума.

Сибилла рассмеялась и взяла его под руку.

— Мой дорогой брат, ты рассуждаешь, как столетний старец. Когда-нибудь ты и сам полюбишь и тогда поймешь, какое это волшебное чувство. Ну не дуйся, прошу, тебя! Ты бы радоваться должен, что, хоть и уезжаешь из родного дома, можешь видеть меня такой счастливой. Для нас жизнь всегда была несладкой. Ничего, кроме трудов и лишений, мы с тобой до сих пор не знали. Но теперь все будет иначе. И мне не надо уезжать в поисках нового мира, как тебе, — я уже обрела его здесь... Смотри, освободилось место; давай сядем и будем смотреть на прохожих — они так нарядно и модно одеты.

Они сели и, как все остальные, стали глазеть на гуляющую публику. Тюльпаны на клумбах с другой стороны дороги пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры из фиалкового корня. Огромными бабочками порхали над головами разноцветные зонтики.

Сибилла настойчиво расспрашивала брата о его надеждах и планах. Джеймс отвечал медленно и неохотно. Они обменивались словами, как играющие в шашки обмениваются ходами. Сибилле хотелось заразить Джеймса кипящей в ней радостью, но единственным откликом, который ей удалось вызвать, была

вымученная улыбка на его хмуром лице.

Вдруг ее внимание привлекло прекрасное лицо в обрамлении золотых волос и столь знакомая ей улыбка: мимо в открытом экипаже проехал Дориан Грей с двумя дамами.

Сибилла импульсивно вскочила и вскрикнула:

— Это он!

— Кто? — спросил Джим Вейн.

— Прекрасный Принц! — ответила она, провожая глазами коляску.

Джим тоже вскочил и, крепко ухватив ее за руку повыше локтя, воскликнул:

— Покажи его мне! Я должен его увидеть!

Но в эту минуту появившийся запряженный четверкой экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди, а когда он проехал, коляски Дориана уже не было в парке.

— Уехал! — огорченно проговорила Сибилла. — Ах, как жаль, что ты его не увидел!

— Мне тоже жаль. Потому что, если он тебя обидит, клянусь богом, я убью его.

Сибилла в ужасе взглянула на брата. А тот повторил свою угрозу. Слова его со свистом прорезали воздух, словно кинжал, и люди стали оглядываться на него. Стоявшая рядом женщина захихикала.

— Пойдем отсюда, Джим, — прошептала Сибилла и стала пробираться через толпу; Джим покорно шел вслед за ней. Он высказал все, что думал, и на душе у него стало легче.

Когда они дошли до статуи Ахилла, девушка повернулась к брату. В глазах ее было огорчение, но на губах играла улыбка. Она укоризненно покачала головой и сказала:

— Какой же ты глупый, Джим, — глупый и злой мальчишка. Как ты можешь говорить такие ужасные вещи! Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты просто ревнуешь, а потому и злишься. Ах, как бы я хотела, чтобы ты кого-нибудь полюбил! Любовь делает человека добрее, а твои слова были недобрые.

— Мне уже шестнадцать, — возразил Джим, — и я знаю, что говорю. Мать тебе не поможет. Она не сумеет тебя уберечь. Я уже жалею, что уезжаю. Не подпиши я контракт, послал бы к черту эту Австралию и остался бы здесь.

— Не надо столько трагизма, Джим! Ты похож на героев тех глупых мелодрам, в которых любила играть мама. Но мне не хочется с тобой ссориться. Я ведь увидела его, а для меня это такое счастье! Я знаю — ты не сможешь причинить зло человеку, которого я люблю, ведь правда, Джим?

— Наверное, не смогу, если ты его действительно любишь, — ответил он нехотя.

— Я буду вечно его любить! — воскликнула Сибилла.

— А он тебя?

— И он тоже.

— Пусть только попробует обидеть тебя!

Сибилла невольно отпрянула от него. Но тут же рассмеялась и доверчиво сжала его руку — ведь он еще сущий ребенок.

У Мраморной Арки они сели в omnibus и вышли недалеко от своего ветхого дома на Юстон-роуд. Был уже шестой час, и Сибилле полагалось полежать часок-другой перед спектаклем. Джим настоял, чтобы и этот вечер не был исключением — тогда он сможет проститься с нею наедине. А матушка их не преминула бы разыграть слезливую сцену, чего он терпеть не мог.

Расстались они с Сибиллой в ее комнате. В сердце юноши продолжала кипеть ревность и ненависть к незнакомцу, вставшему между ними, но, когда Сибилла прильнула к нему и провела рукой по его взлохмаченным волосам, Джим смягчился и поцеловал ее с искренней нежностью. Когда он спускался по лестнице, в глазах его стояли слезы.

Внизу его дожидалась мать и, когда он вошел, стала упрекать его за опоздание. Джеймс ничего не ответил и принялся за скучный обед. По застиранной, в пятнах, скатерти ползали мухи и надоедливый роем вились над столом. Под громыхание omnibusов и стук колес кэбов до Джеймса доносился монотонный голос матери, омрачавший его последние минуты перед отъездом.

Поев, он отодвинул от себя тарелку и молча сидел, подперев голову руками. Он убеждал себя, что должен решиться и, пока еще есть время, узнать наконец всю правду. Если его подозрения справедливы, то матери давно следовало сказать ему об этом. Миссис Вейн наблюдала за ним, догадываясь, о чем он думает, и с ужасом ожидая его вопросов. Слова механически слетали с ее губ, пальцы комкали изорванный кружевной платочек. Когда часы пробили шесть, Джим встал и направился к двери. Но по дороге остановился и оглянулся на мать. Взгляды их встретились, и в глазах ее он прочел горячую мольбу о пощаде. Это лишь подлило масла в

огонь.

— Мама, я хочу задать тебе один вопрос, — начал он.

Миссис Вейн ничего не сказала, глаза ее бегали.

— Признайся, мама: ты была замужем за моим отцом? Я ведь имею право это знать.

У миссис Вейн вырвался глубокий вздох. Это был вздох облегчения. Ужасная минута, ожидание которой омрачало ей жизнь вот уже столько месяцев, наконец наступила, и страх ее вдруг исчез. Она была даже разочарована. Откровенная прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Но Боже, какая жалость — сцена была слишком внезапна, она не была должным образом подготовлена! Это напоминало неудачную репетицию.

— Нет, не была, — отвечала она, сожалея в душе, что в жизни все так грубо и просто.

— Так, значит, он был негодяй? — воскликнул юноша, невольно сжимая кулаки.

Мать покачала головой.

— Вовсе нет. Я знала, что он не свободен. Но, Боже, как мы любили друг друга! Если бы он не умер, он обязательно бы о нас позаботился. Не осуждай его, сынок. Он был твоим отцом и настоящим джентльменом. И он был очень влиятельным человеком.

У Джеймса вырвалось проклятие.

— Мне все равно, что меня ожидает, — воскликнул он, — но мне важно, чтобы ничего не случилось с Сибиллой! Тот тип, который в нее влюблен или, во всяком случае, так говорит, — он ведь тоже настоящий джентльмен? И у него, конечно, тоже высокое положение в обществе?

На какое-то мгновение его матерью овладело унижительное чувство стыда. Голова ее опустилась, она трясущимися руками смахнула слезы со щек.

— У Сибиллы есть мать, — едва слышно проговорила она. — А у меня ее не было.

Джеймса пронзило острое чувство жалости. Он подошел к матери, наклонился к ней и поцеловал ее.

— Прости, мама, если я сделал тебе больно, — сказал он. — Но я не мог не спросить... Ну что ж, мне пора. Прощай, мама! Теперь тебе надо будет заботиться только об одном твоём ребенке. Но будь уверена: если этот джентльмен обидит сестру, я все равно узнаю, кто он такой, разыщу его и убью, как собаку. Клянусь тебе в этом!

Мелодраматическое звучание угрозы и страстность жестов, сопровождавших слова Джеймса, пришлись миссис Вейн по душе: такие вещи, по ее убеждению, украшали жизнь. Она почувствовала себя в своей стихии и вздохнула свободнее. Впервые за многие месяцы она искренне восхищалась сыном. Ей бы хотелось продлить эту сцену на том же эмоциональном накале, но Джим круто оборвал разговор. Нужно было еще разыскать теплые шарфы, без которых не обойтись в таком путешествии, и пора было сносить чемоданы вниз. Слуга при мебелированных комнатах, где они жили, помогал им в этом и то вбегал в дом, то выбегал из него. Затем пришлось торговаться с извозчиком. Сцена прощания была испорчена подобного рода прозаическими мелочами. И миссис Вейн не без чувства разочарования махала из окна своим изорванным кружевным платочком вслед уезжавшему сыну. Какая возможность упущена! Она утешилась лишь тогда, когда с большим чувством продекламировала Сибилле, как она несчастна, оставшись без сына, и насколько дороже теперь ей станет единственная дочь. Ей понравилось, как она это сказала, и она решила запомнить произнесенные ею слова, чтобы повторить их при удобном случае. Об угрозе в адрес Прекрасного Принца, хоть она и прозвучала эффектно и драматично, миссис Вейн умолчала. Она надеялась, что угроза эта пустая и когда-нибудь все они, включая Джеймса, только посмеются над нею.

Глава VI

— Надеюсь, ты уже слышал эту потрясающую новость, Бэзил? — такими словами лорд Генри встретил Холлуорда, сопровождаемого официантом в отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был сервирован обед на троих.

— Нет, Гарри. И что это за новость? — спросил художник, вручая пальто и шляпу почтительно ожидавшему лакею. — Надеюсь, не политическая? Политика меня не волнует. В палате общин едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы расходувать краски. Правда, многие из них облезли, и их не мешало бы побелить.

— А новость та, что Дориан Грей помолвлен, — произнес лорд Генри, наблюдая за реакцией Холлуорда. Холлуорд вздрогнул и нахмурился.

— Дориан! Помолвлен! — воскликнул он. — Не может быть!

— И тем не менее это правда.

— И с кем же?

— С какой-то актриской.

— Мне просто не верится. Дориан не до такой степени безрассуден.

— Напротив, дорогой Бэзил, Дориан достаточно рассудителен, чтобы время от времени делать глупости.

— Но брак, Гарри, — не из разряда тех глупостей, которые делают время от времени!

— В Америке, например, так не думают, — томным голосом произнес лорд Генри. — Впрочем, я ведь не утверждал, что Дориан женится. Я сказал лишь, что он помолвлен, то есть намерен жениться, а это не одно и то же. Я, например, хорошо помню, что женился, но не припоминаю, чтобы был помолвлен, а поэтому склонен думать, что такого намерения у меня не было.

— Ты только подумай, Гарри, о происхождении Дориана, о его богатстве и положении в обществе! Такой неравный брак для него — это просто безумие!

— Если хочешь, чтобы он и в самом деле женился на этой девушке, скажи ему то, что сказал сейчас мне. Тогда такой финал неизбежен. Самые нелепые поступки человек совершает из самых благороднейших побуждений.

— Но она хоть порядочная девушка? Было бы печально, если бы Дориан связал себя на всю жизнь с какой-нибудь недостойной девицей и опустил бы как в нравственном, так и в умственном отношении.

— Порядочная ли она девушка, я не знаю, зато знаю, что очень красива, а это гораздо важнее, — проговорил лорд Генри, потягивая из бокала вермут. — Я лично ее не видел, но Дориан называет ее красавицей, и ему в этом отношении можно верить. Портрет, который ты с него написал, научил его ценить красоту в других людях. Звучит парадоксально, но это действительно так. Сегодня вечером мы увидим его избранницу — разумеется, если он не забыл про наш уговор.

— Ты все это говоришь серьезно, Гарри?

— Совершенно серьезно, Бэзил. Не дай Бог, чтобы мне довелось когда-нибудь в будущем говорить еще серьезнее, чем сейчас.

— Но неужели ты одобряешь его помолвку, Гарри? — спросил художник, расхаживая по комнате и нервно покусывая губы. — Я в это никогда не поверю. Наверно, это просто юношеское увлечение.

— У меня нет привычки что-либо одобрять или осуждать. Такое отношение к жизни было бы просто абсурдным. Мы посланы в сей мир не для того, чтобы навязывать свои нравственные предубеждения. Я не придаю никакого значения тому, что говорят заурядные люди, и никогда не вмешиваюсь в жизнь незаурядных людей. Если человек меня восхищает, то все, в чем он себя проявляет, я нахожу прекрасным. Дориан Грей влюбился в красивую девушку, которая играет Джульетту, и хочет жениться на ней. Почему бы и нет? Женись он хоть на самой Мессалине[43] — от этого он не станет мне менее интересен. Вообще-то, я, как ты знаешь, не сторонник брака. Главный его недостаток заключается в том, что он делает человека неэгоистичным. А люди неэгоистичные бесцветны, им не хватает индивидуальности. В то же время есть такие сложные натуры, которых супружеская жизнь делает еще сложнее. Они не только сохраняют свой эгоизм, но и добавляют к нему множество других «эго». Такой человек вынужден жить более чем одной жизнью и становится личностью высокоорганизованной, а в этом, я полагаю, и заключается цель нашего существования. Кроме того, приобретенный опыт всегда полезен, а семейная жизнь, что бы против нее ни говорили, — это, безусловно, ценнейший жизненный опыт. Хочу надеяться, что девушка эта все-таки выйдет за Дориана. Полгода он будет от нее без ума, после чего увлечется другой. Словом, он будет представлять собой интереснейший объект для изучения.

— Надеюсь, Гарри, ты все это говоришь не всерьез. Ведь если жизнь Дориана будет испорчена, тебя это огорчит намного больше других. Ты ведь гораздо лучше, чем хочешь казаться.

Лорд Генри рассмеялся.

— Мы стараемся думать хорошо о других лишь потому, что опасаемся за себя. В основе оптимизма лежит обыкновеннейший страх. Мы приписываем нашим ближним те добродетели, из которых можем извлечь для себя выгоду, хотя и воображаем, что делаем это из великодушия. Хвалим банкира, чтобы он позволил нам превысить кредит в его банке, и находим привлекательные качества у разбойника с большой дороги в надежде, что он пощадит наши карманы. Поверь, Бэзил, я говорю тебе то, что думаю: я действительно отношусь к

оптимизму с величайшим презрением. Ты боишься, что жизнь Дориана будет испорчена, а, по-моему, испорченной можно считать лишь такую жизнь, которая остановилась в своем развитии. Исправлять или переделывать человеческую природу — значит только ухудшать ее. Ну а что касается брачных уз, то мужчину и женщину могут связывать гораздо более прочные узы, чем эти, и между ними могут существовать намного более интересные отношения. В случае же с Дорианом я всячески буду их поощрять... А вот и он сам! От него ты узнаешь больше, чем от меня.

— Гарри, Бэзил, друзья мои, можете меня поздравить! — были первые слова Дориана; сбросив с себя подбитый шелком плащ и пожав обоим руки, он продолжал: — Никогда еще я не был так счастлив. Разумеется, все это довольно неожиданно, как неожиданно всё чудесное в мире, но мне кажется, это чудо я искал всю свою жизнь.

Он порозовел от радостного возбуждения и был необыкновенно хорош собой.

— Надеюсь, Дориан, вы будете счастливы в семейной жизни, — сказал Холлуорд. — Но почему вы не сообщили мне о вашей помолвке? Это непростительно с вашей стороны. Ведь Гарри об этом знал.

— Еще непростительнее то, что вы опоздали к обеду, — прервал его лорд Генри; затем, положив руку на плечо Дориана и улыбаясь, сказал: — Давайте-ка лучше сядем и посмотрим, чем нас порадует новый шеф-повар здешнего заведения, а вы нам расскажете все по порядку.

— Да тут и рассказывать нечего, — начал Дориан, когда они сели за небольшой круглый стол. — Вот как это произошло. Вчера вечером, после того как мы с вами расстались, Гарри, я съездил домой переодеться, затем пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, о котором узнал благодаря вам, а в восемь отправился в театр. Сибилла играла Розалинду. Декорации были, конечно, ужасные, Орlando просто смешон. Но Сибилла была бесподобна! Ах, если бы вы ее видели! В костюме мальчика она выглядела просто прелестно. На ней была зеленая бархатная куртка с рукавами светло-коричневого цвета, коричневые чулки, изящная зеленая шапочка с соколиным пером и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке. Никогда еще она не казалась мне настолько обворожительной! Она выглядела хрупкой и грациозной, напоминая танагрскую статуэтку[44], которую я видел у вас в студии, Бэзил. Волосы обрамляли ее лицо, как темные листья бледную розу. А как она играла... впрочем, вы сами сегодня увидите ее на сцене. Она просто прирожденная актриса! Я сидел в этой убогой ложе совершенно околдованный. Забыл, что я в Лондоне, что теперь девятнадцатый век. Я был с моей возлюбленной далеко-далеко, в дремучем лесу, где не ступала нога человека. После спектакля я пошел к ней за кулисы, мы сидели рядом и разговаривали, и вдруг я увидел в ее глазах выражение, какого никогда раньше не замечал. Губы мои нашли ее губы. Мы поцеловались. Не могу вам передать, что я чувствовал в этот момент. Казалось, жизнь остановилась и этот миг сладостного блаженства будет длиться до конца моих дней. Сибилла трепетала всем телом, как белый нарцисс на ветру. Затем опустилась на колени и стала целовать мне руки. Знаю, мне не следовало бы рассказывать вам все это, но я не могу удержаться... Помолвка наша, разумеется, — строжайший секрет; Сибилла даже матери ничего не сказала. Не знаю, что запоют мои опекуны. Лорд Рэдди, наверно, ужасно разгневется. Ну и пусть, мне все равно! Меньше чем через год я стану совершеннолетним и смогу делать все, что мне заблагорассудится. Ну, скажите, Бэзил, разве я был не прав, обратившись за любовью к поэзии и найдя себе супругу в шекспировских пьесах? Уста, которые научил говорить сам Шекспир, шептали мне на ухо свои заветные тайны. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту.

— Да, Дориан, пожалуй, вы были правы, — медленно произнес Холлуорд.

— А сегодня вы с ней виделись? — поинтересовался лорд Генри.

Дориан Грей покачал головой:

— Вчера я оставил ее в Арденнских лесах, а сегодня встречу в садах Вероны.

Лорд Генри отпил немного шампанского и с задумчивым видом спросил:

— А когда вы ей впервые упомянули о том, что хотите на ней жениться? И что она вам ответила? Или, может быть, все это уже изгладилось из вашей памяти?

— Дорогой Гарри, я не делал ей официального предложения и не воспринимал наш разговор как какую-то сделку. Я просто сказал, что люблю ее, а она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна? Она-то? Господи, да для меня целый мир — ничто по сравнению с ней!

— Женщины — удивительно практичный народ, — заметил лорд Генри. — Они намного практичнее нас, мужчин. Мы в такие минуты часто забываем, что от нас ждут предложения руки и сердца, но женщины всегда нам напоминают.

Холлуорд остановил его:

— Не надо, Гарри, ты только злишь Дориана. Он не такой, как другие; у него слишком возвышенная душа, чтобы причинить кому-нибудь боль.

Лорд Генри посмотрел через стол на Дориана.

— Дориан никогда на меня не сердится, — улыбнулся он. — Я задал ему этот вопрос по очень простой причине — собственно, единственной причине, оправдывающей любые вопросы: из чистого любопытства. Хотел проверить правильность своей теории о том, что обычно женщины делают нам предложение, а не мы им, как это принято думать. Средние классы, естественно, являются исключением. Но ведь средние классы отстали от века.

Дориан Грей рассмеялся и покачал головой:

— Вы неисправимы, Гарри, но сердиться на вас действительно невозможно. Когда увидите Сибиллу Вейн, вы поймете, что обидеть ее способен лишь негодяй, человек без сердца. Я не представляю себе, чтобы кто-нибудь мог опозорить ту, кого любит. А я люблю Сибиллу Вейн. Я хотел бы поставить ее на золотой пьедестал, чтобы видеть, как весь мир боготворит ту, что принадлежит мне. Что такое, в сущности, брак? Обет нерушимой верности. Вам смешно? Не смейтесь, Гарри! Именно такой обет я и хотел бы дать любимой. Ее доверие обязывает меня быть ей верным, ее вера в меня делает меня лучше! Когда Сибилла со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня; я становлюсь совершенно другим. Да, при одном прикосновении ее руки я забываю и вас, и ваши парадоксальные, восхитительные, отравляющие, завораживающие теории.

— Какие, например? — спросил лорд Генри, принимаясь за салат.

— Ну, например, о жизни, о любви, о наслаждении. Да, собственно, все ваши теории, Гарри.

— Единственное, о чем стоит теоретизировать, — так это о наслаждении, — произнес лорд Генри своим томным, мелодичным голосом. — Увы, теорию наслаждения я не вправе приписывать себе. Автор ее не я, а Природа. Наслаждение — это тот пробный камень, которым она испытывает человека, и в то же время это знак ее благоволения к нему. Когда мы счастливы, мы кажемся себе хорошими людьми, но не все хорошие люди счастливы.

— Ну и кого ты называешь хорошим человеком? — спросил Бэзил Холлуорд.

— И в самом деле, — поддержал его Дориан, откинувшись на спинку стула и глядя на лорда Генри поверх пышного букета пурпурных ирисов, стоящего посреди стола. — Кто, по-вашему, может считаться хорошим?

— Быть человеком хорошим — значит быть в гармонии с самим собой, — ответил лорд Генри, касаясь ножки бокала своими тонкими белыми пальцами. — А кто вынужден быть в гармонии с другими, тот в разладе с самим собой. Для человека главное — его собственная жизнь. Ханжи и пуритане могут, конечно, навязывать другим свои нравственные принципы, но я утверждаю, что вмешиваться в жизнь наших ближних — вовсе не наше дело. Индивидуализм — вот высшая цель. Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые взгляды своей эпохи. Я же считаю, что культурный человек не может разделять общепринятых взглядов, а если разделяет, он в высшей степени аморален.

— Но согласись, Гарри, что человек, живущий только для самого себя, платит за это слишком дорого, — заметил художник.

— Да, в нынешние времена за все приходится платить слишком много. Пожалуй, настоящая трагедия бедных заключается в том, что они не могут себе позволить ничего, кроме самоотречения. Красивые грехи, как и красивые вещи, — привилегия одних лишь богатых.

— Когда живешь только для самого себя, расплачиваешься не деньгами, а кое-чем другим.

— И чем же, Бэзил?

— Ну, я думаю, угрызениями совести, страданиями, сознанием происходящей в тебе деградации личности.

Лорд Генри пожал плечами.

— Милый мой, средневековое искусство великолепно, но средневековые представления устарели. Конечно, их можно использовать в литературе, но в литературе всегда применялось лишь то, что вышло из употребления. Поверь, цивилизованный человек никогда не сожалеет о том, что предавался наслаждениям, а человек нецивилизованный даже не знает, что такое наслаждение.

— Я теперь знаю, что такое наслаждение! — воскликнул Дориан Грей. — Это — кого-нибудь обожать.

— Разумеется, это лучше, чем быть обожаемым, — ответил лорд Генри, выбирая себе фрукты. — Когда тебя обожают, это настоящая мука. Женщины относятся к нам, мужчинам, точно так же, как человечество к своим богам: они нам поклоняются и в то же время постоянно от нас что-то требуют.

— По-моему, то, чего они от нас требуют, они первые же нам и дают, — произнес Дориан как-то очень серьезно. — Они пробуждают Любовь в наших душах и вправе от нас ее требовать.

— Абсолютная правда, Дориан! — воскликнул Холлуорд.

— Абсолютной правды не бывает, — возразил лорд Генри.

— Нет, бывает, Гарри, — настаивал Дориан Грей. — Вы же не станете отрицать, что женщины отдают мужчинам самое драгоценное в своей жизни.

— Может быть, — вздохнул лорд Генри. — Но они всегда требуют отданное ими назад, причем очень мелкой монетой. В этом-то все и дело! Как сказал один остроумный француз, женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.

— Гарри, вы неисправимый циник. Право, не пойму, за что вы мне нравитесь.

— Я всегда буду вам нравиться, Дориан... Выпьете кофе, друзья?.. Официант, принесите нам кофе, коньяк и папиросы. Впрочем, папирос не нужно: у меня есть свои. Бэзил, я не дам тебе курить здесь сигары, бери папиросу! Выкурить папиросу — это высший вид наслаждения: она восхитительна и в то же время оставляет курящего неудовлетворенным. Чего еще мы можем желать?.. Так вот, Дориан, вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я воплощение всех тех грехов, совершить которые у вас не хватает смелости.

— Ну что за вздор вы говорите, Гарри! — воскликнул молодой человек, закуривая папиросу от фигурки серебряного огнедышащего дракона, которую официант поставил на стол. — Едемте-ка лучше в театр. Когда вы увидите Сибиллу на сцене, вы всё начнете воспринимать иными глазами. Она откроет вам нечто такое, чего вы никогда раньше не знали.

— Я все познал в этой жизни, — ответил лорд Генри, с выражением преувеличенной усталости во взгляде. — Но я всегда рад возможности увидеть что-нибудь новое, хотя, боюсь, ничего нового я никогда уже не увижу. Впрочем, не исключено, что ваша девушка заинтересует меня. Я люблю театр, в нем все гораздо правдивее, чем в жизни! Ну что ж, едем! Дориан, вы сядете со мной. Мне очень жаль, Бэзил, но в моем кабриолете могут поместиться только двое. Вам придется ехать за нами в наемном кэбе.

Они встали из-за стола, оделись и допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян, лицо его было хмурым. Не по душе ему был этот брак, хотя он и понимал, что это не самое худшее, что может произойти с Дорианом.

Через несколько минут они сошли вниз. Как и договорились, Холлуорд ехал за экипажем лорда Генри в кэбе. Глядя на мерцающие впереди огни на кабриолете, он испытывал острое чувство утраты. Он понимал, что Дориан Грей никогда больше не будет в его жизни тем, чем был раньше. Между ними прошла сама Жизнь...

Глаза Холлуорда потемнели, и ярко освещенные, людные улицы стали казаться ему расплывчатыми. К тому времени, как кэб подкатил к театру, художник чувствовал себя старше на много лет.

Глава VII

В тот вечер театр по каким-то непостижимым причинам был переполнен, и толстый еврей, владелец театра, встретил Дориана и его друзей с сияющим видом, приторно и заискивающе улыбаясь. Он торжественно проводил их в ложу, непрерывно жестикулируя пухлыми руками в перстнях и что-то громко рассказывая. Дориану он внушал еще большее отвращение, чем обычно, — как если бы он пришел за Мирандой[45], а наткнулся на Калибана. Зато лорду Генри еврей явно понравился. Во всяком случае, он об этом им заявил. Он даже пожал тому руку, уверяя его, что гордится знакомством с человеком, который открыл настоящий талант и не раз разорялся из-за любви к великому поэту. Холлуорд молча рассматривал публику в партере. Жара стояла удушающая, и большая люстра пылала, точно гигантский георгин с огненными лепестками. На галерке молодые люди сняли верхнюю одежду и жилеты и положили их на барьер. Они переговаривались друг с другом через весь зал и угощали апельсинами сидевших с ними рядом безвкусно одетых девиц. В партере громко хохотали женщины. Их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось хлопанье пробок.

— И в таком месте вы нашли свое божество?! — покачал головой лорд Генри.

— Да, — ответил Дориан Грей. — Именно здесь я и нашел ее, богиню среди простых смертных. Когда она выйдет на сцену, вы забудете обо всем на свете. Это простонародье, эти люди с грубыми лицами и вульгарными манерами, совершенно преображаются, когда она начинает играть. Они сидят, затаив дыхание, и ловят каждое ее слово. Они плачут и смеются по ее воле. Она играет на их душах, словно на скрипке, делает их

чище и лучше, и тогда я начинаю понимать: эти люди из той же плоти и крови, что и я.

— Из той же плоти и крови? Надеюсь, что нет! — воскликнул лорд Генри, разглядывая в бинокль публику на галерке.

— Не слушайте его, Дориан, — отозвался художник. — Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в вашу избранницу. Если вы ее полюбили, значит, она необыкновенная девушка. И если она так воздействует на людей, значит, она и сама обладает душой возвышенной и прекрасной. Делать более духовными своих современников — это ли не благородная миссия?! Если эта девушка способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор обходился без нее, если она будит любовь к прекрасному в людях, чья жизнь отвратительна и безобразна, заставляет их забыть о себе и проливать слезы сострадания над чужими горестями, — значит, она достойна вашей любви, и мир должен преклоняться перед ней. Я рад, что вы на ней женитесь. Сначала я думал иначе, но теперь вижу, что вы правильно делаете. Сибилла Вейн создана для вас. Вы с ней — словно две половинки одного целого.

— Спасибо, Бэзил, — сказал Дориан Грей, пожимая ему руку. — Я знал, что вы меня поймете. А Гарри только и делает, что шокирует меня своим цинизмом... Так, я вижу, появился оркестр! Он, конечно, чудовищный, но играет не больше пяти минут. Сейчас поднимется занавес, и вы наконец увидите ту, которой я готов посвятить всю свою жизнь и благодаря которой во мне открылось все лучшее, что во мне есть.

Через четверть часа под гром рукоплесканий на сцену вышла Сибилла Вейн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри отметил про себя, что никогда не видел девушки очаровательнее. Своей застенчивой грацией и готовыми вспорхнуть глазами она напоминала молодую лань. Увидев, что зал битком набит восторженной публикой, она просияла, и на щеках ее, словно тень розы в серебристом зеркале, вспыхнул легкий румянец. Она отступила назад, и губы ее дрогнули. Бэзил Холлуорд вскочил и стал аплодировать. Дориан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. А лорд Генри смотрел в свой театральный бинокль и бормотал: «Очаровательна! Просто очаровательна!»

Сцена представляла собой зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одеянии монаха, а с ним Меркуцио и другие его друзья. Снова заиграл оркестр, и начался танец. В толпе неуклюже движущихся и убого одетых актеров Сибилла Вейн казалась существом из другого, высшего мира. Она танцевала, и стан ее покачивался, как тростник, колеблемый волнами. Гибкая шея напоминала белоснежную лилию, руки были словно выточены из слоновой кости.

Однако она казалась какой-то удивительно апатичной. Когда на сцену вышел Ромео, она не проявила ни малейшего оживления. И обращенные к нему слова Джульетты:

Святой отец, пожатые рук законно.
Пожатые рук — естественный привет.
Паломники святыням бьют поклоны.
Прикладываться надобности нет[46],

как и последующие ее реплики во время короткого диалога, прозвучали в ее устах в высшей степени неестественно. Голос был дивный, но интонации совершенно фальшивые. И этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженное в них чувство — неискренним.

Дориан Грей смотрел на нее, и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен и встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлуорд не решались заговорить с ним. Сибилла Вейн казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы.

Зная, однако, что пробным камнем для любой актрисы, играющей Джульетту, является сцена на балконе во втором акте, они терпеливо ждали. Если Сибилле не удастся и эта сцена, значит, у нее нет и искры таланта.

Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете, — этого нельзя было отрицать. Но игра ее была невыносимо театральной — и чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости, произносила она свою роль с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог... —

Мое лицо спасает темнота,
А то б я, знаешь, со стыда сгорела,
Что ты узнал так много обо мне

она продекламировала с механической старательностью школьницы, учившейся у какого-нибудь провинциального учителя красноречия. А когда, наклонясь через перила балкона, она дошла до следующих замечательных строк

Не надо, верю. Как ты мне ни мил,
Мне страшно, как мы скоро сговорились.
Все слишком второпях и сгоряча,
Как блеск зарниц, который потухает,
Едва сказать успеешь «блеск зарниц».
Спокойной ночи! Эта почка счастья
Готова к цвету в следующий раз.
Спокойной ночи!..

она проговорила их так, будто не понимала заключенного в них смысла. Этого нельзя было объяснить одним лишь нервным волнением. Напротив, Сибилла вполне владела собой. Всё объяснялось проще: она очень плохо играла. Девушка была начисто лишена актерских способностей.

Даже непросвещенная публика в задних рядах партера и на галерке утратила интерес к тому, что происходило на сцене. В зале стало шумно, зрители громко разговаривали, некоторые начали свистеть. Еврей-антрепренер, стоявший за задними рядами бельэтажа, топал ногами и проклинал все на свете. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастной.

Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и набросил на плечи накидку.

— Она замечательно красива, Дориан, — сказал он, — но играть не умеет. Оставаться дальше нет смысла.

— Я досижу до конца, — сказал Дориан сдавленным голосом. — Мне очень жаль, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих.

— Должно быть, мисс Вейн нездорова, — попытался успокоить его Холлуорд. — Придем сюда как-нибудь в другой раз.

— Ах, если бы дело было в этом, — уныло произнес Дориан. — Нет, она просто холодна и бездушна. Но Боже, как она изменилась! Еще вчера она была великой актрисой. Сегодня же она — сама заурядность.

— Нельзя так говорить о том, кого любишь, Дориан. Любовь выше искусства.

— И любовь, и искусство — лишь формы подражания, — произнес лорд Генри. — Пойдемте же, Бэзил. И вам, Дориан, не советую оставаться. Смотреть на плохую игру вредно для нравственности человека. Уверяю вас, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена была актрисой, — так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Зато она очень красива, и если в жизни она понимает так же мало, как и в искусстве, то общение с ней, должно быть, доставляет огромное удовольствие. Только два типа людей по-настоящему интересны — те, кто знает о жизни решительно все, и те, кто о ней решительно ничего не знает. Ради бога, дорогой друг, не принимайте этого так близко к сердцу! Секрет сохранения молодости заключается, главным образом, в том, чтобы по возможности избегать волнений — от них человек только дурнеет. Поедемте-ка со мной и Бэзиллом в клуб! Будем курить папиросы и пить за красоту Сибиллы Вейн. Она ведь действительно красавица. Разве вам этого мало?

— Прошу вас, Гарри, уходите! — воскликнул Дориан. — Я хочу побыть наедине с собой. Бэзил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части?

К глазам его подступили горячие слезы, губы дрожали. Отойдя в глубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками.

— Пойдем, Бэзил, — проговорил лорд Генри с не свойственной ему нежностью в голосе.

И оба вышли из ложи.

Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен, на лице его застыло выражение высокомерного

равнодушия. Казалось, спектаклю никогда не будет конца. Зал наполовину опустел, люди уходили, топя тяжелыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный.

Последнее действие шло почти при пустом зале. Наконец занавес опустился. Оставшиеся зрители, расходясь, хихикали или откровенно чертыхались.

Как только спектакль окончился, Дориан Грей бросился за кулисы. Сибилла была одна в своей гримерной. Лицо ее светилось торжеством, глаза ярко блестели, от нее словно исходило сияние. Полуоткрытые губы улыбались какой-то одной ей ведомой тайне.

Когда вошел Дориан Грей, она с сияющим видом на него посмотрела и радостно воскликнула:

— Боже, как плохо я сегодня играла!

— Просто ужасно! — недоуменно произнес он в ответ. — Я бы сказал, отвратительно! Может быть, вы заболели? Вы и представить себе не можете, как это выглядело из зала. Если б вы знали, как я страдал!

Девушка не переставала улыбаться.

— Дориан, — она произнесла его имя напевно и протяжно, упиваясь им, словно оно для алых лепестков ее губ было слаще меда. — Дориан, неужели вы не поняли? Но сейчас-то вы уже понимаете, ведь правда?

— Что именно я должен понять? — спросил он с раздражением.

— Причину, почему я так плохо играла сегодня. И почему всегда буду плохо играть. Я никогда уже не смогу играть, как прежде.

Дориан недоуменно пожал плечами.

— Должно быть, вы все-таки заболели. Вам не следовало играть, если вы чувствовали себя нездоровой. Ведь вы попросту опозорились. Моим друзьям было нестерпимо скучно. Да и мне тоже.

Сибилла, казалось, его не слышала. Все ее существо было переполнено счастьем, совершенно преобразившим ее.

— Ах, Дориан! — воскликнула она. — Пока я вас не знала, я жила одной только сценой. Мне казалось, что лишь играя я начинаю жить настоящей жизнью. Сегодня я была Розалиндой, завтра — Порцией[47]. Радость Беатриче[48] была моей радостью и страдания Корделии[49] моими страданиями. Для меня все это было реальностью. Бездарные актеры, что играли со мной, казались мне божествами, грубо размалеванные декорации были тем миром, где я жила. Я была среди призраков, считая их живыми людьми. Но вот пришли вы, мой любимый, и освободили мою душу из плена. Вы мне показали настоящую жизнь. У меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишурность, фальшь и нелепость того бутафорного мира, который окружал меня на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, безобразен, насурьмлен, что лунный свет в саду не настоящий и сад этот — не сад, а убогие декорации. И слова, которые я произносила, были не настоящие, не мои слова, не то, что мне хотелось бы говорить. Благодаря вам я узнала то, что превосходит искусство. Я узнала любовь не искусственную, а настоящую. Искусство — лишь ее бледное отражение. О радость моя, мой Прекрасный Принц! Мне надоело жить среди теней. Вы мне дороже, чем все искусство мира. Что для меня эти марионетки, которые окружают меня в театре? Я вышла на сцену, и вдруг почувствовала, что муза покинула меня. Я шла в театр, думая, что буду играть как никогда хорошо, а оказалось, что у меня ничего не выходит. Но потом я вдруг поняла душой, отчего это, и меня наполнила радость. Я слышала шиканье в зале — и улыбалась. Что они знают о такой любви, как наша? Уведите меня отсюда, Дориан, заберите меня туда, где мы будем совсем одни. Я ненавижу театр. Я могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь, я не могу больше этого делать. Ах, Дориан, теперь вы меня понимаете? Ведь для меня сейчас играть влюбленную — это профанация! И поняла я это только благодаря вам.

Дориан бросился на диван и, отвернув лицо от Сибиллы, пробормотал:

— Вы убили мою любовь...

Сибилла удивленно на него посмотрела и рассмеялась. Дориан больше ничего не добавил. Она приблизилась к нему и коснулась пальцами его волос. Затем опустилась на колени и прильнула губами к его рукам. Дориан вздрогнул и резким движением высвободил руки. Потом вскочил и отошел в другой конец комнаты.

— Да, — повторил он, — вы убили мою любовь! Раньше вы поражали мое воображение, а теперь поражаете своей посредственностью. Вы стали мне безразличны. Я вас полюбил, потому что вы так чудесно играли, потому что я видел в вас огромный талант, потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов, облекая в живую, реальную форму бесплотные образы искусства. Теперь вы не способны на это. Вы оказались такой же пустой и ограниченной, как самые заурядные люди. Боже, как я был глуп! Каким безумием была моя любовь к вам! Сейчас вы для меня ничто. Я не хочу вас больше видеть. Я никогда не вспомню о вас, никогда не

произнесу вашего имени. Если бы вы могли представить, чем вы для меня были! Да я был готов... Нет, мне невыносимо даже думать об этом. Лучше бы я вас никогда не знал! Вы уничтожили самое прекрасное в моей жизни. Как же мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она в вас убила актрису! Да ведь без вашего искусства вы — ничто! Я мог бы вас сделать великой, блистательной, знаменитой. Весь мир преклонялся бы перед вами, и вы носили бы мое имя. А кто вы теперь? Третьеразрядная актриса с хорошеньким личиком.

Сибилла побледнела и вся дрожала. Судорожно сжав руки, она с трудом проговорила, словно слова застревали у нее в горле:

— Вы ведь говорите не всерьез, а, Дориан? Вы играете какую-то роль?

— Играю? Нет, играть я предоставляю вам, — вы ведь делаете это бесподобно! — язвительно произнес Дориан.

Девушка поднялась с колен и, еле сдерживая слезы, подошла к нему, коснулась его рукой и заглянула в глаза. Но Дориан оттолкнул ее и закричал:

— Не прикасайтесь ко мне!

У Сибиллы вырвался глухой стон, и она упала к его ногам. Как распотанный цветок, лежала она на полу.

— Дориан, Дориан, не покидайте меня! — умоляла она. — Я так жалею, что плохо играла сегодня. Но это лишь потому, что я все время думала о вас. Я снова постараюсь играть, как прежде. Я очень буду стараться... Любовь ко мне пришла так неожиданно. Я, наверное, не знала бы, как сильно я вас люблю, если бы вы не поцеловали меня... если бы мы не поцеловали друг друга... Поцелуйте же меня еще раз, любимый мой. Не уходите, я этого не переживу. Не бросайте меня! Мой брат... Нет, лучше этого не говорить. Он ведь это сказал не всерьез... Ах, неужели вы не можете меня простить? Я буду стараться изо всех сил, чтобы вас больше не разочаровывать. Не будьте ко мне жестоки, я люблю вас больше всего на свете. Ведь я только раз не угодила вам. Вы, конечно, правы, Дориан, — мне не следовало забывать, что я актриса... Я поступила глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Не покидайте меня, Дориан, не уходите!..

Она корчилась на полу, словно раненое животное, ее хрупкое тело сотрясалось от судорожных рыданий, а Дориан Грей смотрел на нее своими голубыми, прекрасными глазами, и его изысканно очерченные губы кривились в утонченно-презрительной улыбке. В страданиях тех, кого разлюбили, всегда есть что-то жалкое и смешное. Рыдания Сибиллы только раздражали Дориана.

— Я ухожу, — произнес он ровным, спокойным голосом. — Не хочу причинять вам боль, но больше я к вам приходиться не буду. Вы меня полностью разочаровали.

Сибилла зарыдала еще безутешнее и, ничего не сказав в ответ, пододвинулась ближе к его ногам и протянула к нему руки, словно слепая. Но он повернулся и вышел из комнаты. А вскоре он уже шагал по улице.

Куда он идет, он и сам не знал. Ему смутно вспоминалось потом, что он бродил по каким-то плохо освещенным улицам, мимо зловещего вида домов, под высокими арками, где затаилась черная тень. Женщины, громко смеясь, что-то кричали ему вслед хриплыми голосами. То и дело ему попадались по пути пьяные. Они были похожи на больших обезьян и брели шатаясь и бормоча себе что-то под нос. Дориан видел грязных, оборванных детей, лежавших, свернувшись калачиком, под входными дверями домов, и слышал пронзительные крики и брань, доносившиеся из черных подворотен.

На рассвете он очутился вблизи Ковент-Гардена[50]. Мрак рассеялся, и пронизанное бледными огнями небо сияло над землей, как жемчужина. По отполированным мостовым безлюдных улиц громыхали большие повозки, полные лилий, покачивавшихся на длинных стеблях. Воздух был напоен ароматом цветов. Их красота смягчала его душевную боль. Идя за повозками, он оказался на рынке. Там он некоторое время наблюдал, как их разгружают. Один возчик в белом фартуке предложил ему вишен. Дориан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь тому, что возчик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана, пробираясь между высокими грудками нежно-зеленых овощей, прошли длинной вереницей мальчишки с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз. Под портиком, между серыми, залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые, неопрятно одетые девицы. Другая их группа теснилась у дверей кафе на Пьяцце[51]. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, дребезжали сбруей и колокольцами. Некоторые возчики спали на мешках. Розовоногие голуби с радужными шейками суетились вокруг, клюя рассыпанное зерно.

Спустя некоторое время Дориан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов, наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего дома поднималась

тонкая струйка дыма и лиловой лентой вилась в перламутровом воздухе.

В большом золоченом венецианском фонаре, некогда, вероятно, похищенном с гондолы какого-нибудь дожа и свисавшем теперь с потолка в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три газовых рожка, мерца узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дориан погасил их и, бросив на столик шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую восьмиугольную комнату на первом этаже, которую он, в своем новом увлечении роскошью, недавно отделал заново и увешал редкими гобеленами времен Ренессанса, найденными на чердаке его дома в Селби. В тот момент, когда он уже взялся за ручку двери, взгляд его упал на портрет, написанный Бэзиллом Холлуордом. Он вздрогнул и отпрянул назад, словно его что-то поразило в этом портрете, затем вошел в спальню. Однако, вынув бутоньерку из петлицы, он в нерешительности остановился — его, видимо, что-то смущало. В конце концов он вернулся в библиотеку и, подойдя к своему портрету, долго всматривался в него. В слабом свете, проникающем сквозь желтые шелковые шторы, лицо на портрете показалось ему неувлимо изменившимся. Выражение лица было каким-то иным, — в линии рта чувствовалась жестокость. Как странно!

Отвернувшись от портрета, Дориан подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по темным углам. Однако в лице на портрете по-прежнему была заметна какая-то странная перемена, она даже стала еще явственнее. В скользивших по полотну ярких отблесках солнца складка жестокости у рта была видна настолько отчетливо, словно Дориан смотрел на себя в зеркало после совершенного им ужасного преступления.

Он вздрогнул и, торопливо взяв со стола овальное ручное зеркальце в украшенной купидонами рамке из слоновой кости (один из многочисленных подарков лорда Генри), посмотрел на себя. Нет, никакой складки у своих алых губ он не увидел. Что же это могло значить?

Он протер глаза и, подойдя к портрету как можно ближе, снова стал внимательно всматриваться в него. Краска, несомненно, была не тронута, никаких следов подрисовки. А между тем выражение лица явно изменилось. Увы, ему это не почудилось — страшная перемена бросалась в глаза. Сев в кресло, Дориан принялся размышлять. И вдруг в его памяти всплыли слова, сказанные им в студии Бэзила Холлуорда в тот день, когда портрет был окончен. Да, он отлично их помнил. Он тогда высказал безумное желание вечно оставаться молодым, чтобы красота его никогда не блекла, а вместо него чтобы старел его портрет и печать страстей и пороков ложилась на изображенное художником лицо. Да, он хотел, чтобы следы страданий и тяжелых дум бороздили лишь его изображение на полотне, а сам он сохранял весь нежный цвет и прелесть своей тогда еще почти не осознанной юности. Неужели его желание исполнилось? Нет, такое абсолютно невозможно. Чудовищно даже думать об этом. И тем не менее перед ним был его портрет со складкой жестокости у рта.

Но разве его поступок был жестоким? Виноват ведь во всем не он, а Сибилла. Она поразила его воображение как великая актриса, и за это он ее полюбил, а потом жестоко его разочаровала. Она оказалась недостойной его любви. И все же сейчас он с безграничным сожалением вспоминал о том, как она лежала у его ног и горько рыдала, как малое дитя; с каким черствым равнодушием он смотрел на нее. Зачем он создан таким, зачем ему дана такая душа?

Но разве он и сам не страдал? За те ужасные три часа, пока шел спектакль, он пережил целые столетия терзаний, целую вечность мук. Ведь его жизнь имеет такую же ценность, как и ее. Да, он жестоко ранил Сибиллу, но и она надолго омрачит его жизнь. К тому же женщины переносят горе легче, чем мужчины, — так уж они созданы! Они думают лишь о своих чувствах. Они и любовников заводят себе лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так говорит лорд Генри, а он хорошо знает женщин. Зачем же, в таком случае, тревожить себя мыслями о Сибилле Вейн? Она больше для него не существует.

Ну а портрет? Как объяснить это другим? Портрет хранит тайну его жизни и может открыть ее всем. Портрет научил его любить собственную красоту — так неужели он заставит его возненавидеть свою душу? Сможет ли он когда-нибудь взглянуть на него снова?

Нет, нет! Все это только обман чувств, вызванный душевным смятением. Он пережил ужасную ночь — вот ему и мерещится бог знает что. Это просто временное помешательство. Портрет ни в малейшей степени не изменился, и воображать такое совершенно абсурдно.

Но лицо с портрета взирало на него с жестокой усмешкой, искажавшей его совершенную красоту. Золотистые волосы сияли в лучах утреннего солнца, голубые глаза смотрели в глаза живого Дориана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана — жалости не к себе, а к своему портрету. Изображение на полотне уже изменилось и будет изменяться все больше и больше! Потускнеет золото кудрей и сменится сединой. Увянут свежие розы юности. Каждое его согрешение будет ложиться пятном на портрет и портить его

красоту...

Нет, он не станет больше грешить! Будет ли портрет меняться или не будет — все равно он станет для него его совестью. Надо теперь не уступать искушениям, какими бы они ни были. И больше не встречаться с лордом Генри — во всяком случае, не слушать его опасных, как яд, речей, которые в тот день, в саду у Бэзила Холлуорда, впервые пробудили в нем жажду невозможного.

И Дориан решил вернуться к Сибилле Вейн, загладить свою вину. Он на ней женится, он постарается снова ее полюбить. Да, это его долг. Она, наверное, страдает больше, чем он. Бедняжка! Он поступил с ней, как бессердечный эгоист. Любовь вернется, и они будут счастливы. Его жизнь с Сибиллой будет чиста и прекрасна.

Он встал с кресла и, с содроганием взглянув последний раз на портрет, заслонил его высоким экраном.

— Как это ужасно! — пробормотал он и, подойдя к стеклянной двери, распахнул ее. Затем вышел в сад и вдохнул полной грудью свежий утренний воздух. Казалось, утро прогнало темные страсти из его души, и он думал теперь только о Сибилле. В сердце своем он слышал отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя возлюбленной. И птицы, распевавшие в росистом саду, рассказывали о ней цветам.

Глава VIII

Когда Дориан проснулся, было далеко за полдень. Его камердинер уже несколько раз на цыпочках входил в спальню посмотреть, не проснулся ли молодой хозяин, и немало дивился тому, что тот спит так долго. Наконец из спальни раздался звонок, и Виктор, бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чая и целой стопкой писем на подносе из старинного севрского фарфора. Поставив поднос на столик, он раздвинул зеленые шелковые портьеры на блестящей синей подкладке, закрывавшие три высоких окна.

— Месье хорошо спали? — произнес он с почтительной улыбкой.

— Который час, Виктор? — сонно спросил Дориан.

— Четверть второго, месье.

Неужели так поздно? Дориан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри, его принес посыльный сегодня утром. После минутного колебания Дориан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные. Это были приглашения на обеды, билеты на закрытые вернисажи, программы благотворительных концертов и тому подобное — обычный хлам, которым засыпают светского молодого человека в разгар сезона. Был здесь и повторный счет на довольно крупную сумму — за туалетный прибор из чеканного серебра в стиле Людовика XV (счет этот Дориан никак не решался переслать своим опекунам, людям старого закала, крайне отставшим от века и не понимавшим, что необходимо приобретать только те вещи, в которых нет ни малейшей необходимости). Увидел он также и несколько писем от ростовщиков с Джермин-стрит, в весьма учтивых выражениях предлагавших ссудить какую угодно сумму по первому требованию и за самые умеренные проценты.

Минут через десять Дориан встал и, накинув элегантный, расшитый шелком кашемировый халат, прошел в облицованную ониксом ванную комнату. После долгого сна холодная вода освежила его. Он, казалось, забыл обо всем, что произошло накануне. Только раз или два в голове у него промелькнуло смутное воспоминание, что он был участником какой-то необычайной драмы, но все это казалось нереальным, как сон.

Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День выдался чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, принялась кружить над стоявшей перед ним китайской вазой с нарисованными на ней синими драконами, в которой стояли желтые розы. Он чувствовал себя совершенно счастливым.

Но вдруг взгляд его остановился на экране, которым он накануне заслонил портрет, и он невольно вздрогнул.

— Месье холодно? — спросил камердинер, подававший ему в эту минуту омлет. — Может быть, закрыть окно?

Дориан покачал головой:

— Нет, мне не холодно.

Так неужели же все это было на самом деле? И неужели портрет действительно изменился? Или это была игра расстроенного воображения, и ему просто показалось, что радостная улыбка сменилась улыбкой злобной?

Ведь не могут же меняться краски на полотне! Какой вздор! Надо будет как-нибудь рассказать Бэзилу — это его здорово позабавит!

Однако как живо стоит это у него перед глазами! Сначала в полумраке, затем в ярком свете раннего утра он увидел это выражение жестокости, искривившее губы. И сейчас он чуть не со страхом ждал той минуты, когда камердинер уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, он не выдержит и подойдет к портрету. И он боялся того, что увидит.

Когда камердинер, подав кофе и папиросы, направился к двери, Дориан почувствовал огромное желание остановить его. И, прежде чем тот открыл дверь, он вернул Виктора. Камердинер стоял в почтительной позе, ожидая приказаний. Дориан с минуту молча на него смотрел, а затем со вздохом сказал:

— Меня ни для кого нет дома, Виктор.

Камердинер поклонился и ушел.

Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и сел на кушетку, стоявшую против экрана. Это был старинный, из позолоченной испанской кожи экран с тиснеными на нем узорами в стиле Людовика XIV. Дориан смотрел на узоры и спрашивал себя, доводилось ли этому экрану когда-либо прежде скрывать тайну чьей-нибудь жизни.

Стоит ли отодвигать его? Или лучше оставить на месте? Смотреть на портрет не было никакого смысла. Если все окажется правдой, он лишний раз испытает чувство ледящего ужаса, ну а если нет, зачем беспокоиться?

Ну а если по роковой случайности чей-нибудь посторонний глаз заглянет за экран и увидит эту страшную перемену? Или если придет Бэзил Холлуорд и захочет взглянуть на свою работу? А он непременно захочет... Нет, на портрет все-таки нужно взглянуть — и немедленно. Нет ничего мучительнее неизвестности.

Дориан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел быть один в ту минуту, когда увидит маску своего позора. Затем, отодвинув экран, он оказался лицом к лицу с самим собой. Да, сомнений быть не могло: портрет изменился.

Позднее он часто — и каждый раз с удивлением — вспоминал, что в первые несколько минут он смотрел на портрет почти с отстраненным интересом. Ему казалось невероятным, что с тем, чему не надлежит изменяться, могла произойти такая перемена — а между тем она была налицо (и, увы, на лице). Неужели есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, из которых составлены на полотне формы и краски? Возможно ли, что эти атомы отражают все движения души, делают реальными ее сны? Или тут кроется иная, еще более страшная причина?

Его передернуло при этой мысли, он снова подошел к кушетке, лег и долго, не отрываясь, смотрел на портрет, чувствуя, как холодеет от ужаса.

Утешало его лишь сознание, что кое-чему портрет научил его — и прежде всего помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был с Сибиллой Вейн. Исправить это еще не поздно. Сибилла станет его женой. Его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное, а портрет, написанный Бэзиллом, всегда будет указывать ему верный путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими — совесть, а всеми нами — страх перед Богом. Угрызения совести и нравственные мучения можно усыпить с помощью наркотиков. Но здесь перед его глазами был зримый символ разложения, наглядный результат прегрешения. И с этих пор перед ним всегда будет это вечное доказательство того, что человек способен погубить собственную душу.

Пробило три часа, затем четыре. Потом прошло еще полчаса, а Дориан все не мог оторвать взгляд от портрета. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, в котором он заблудился. Он не знал, что ему делать и что думать. Наконец он подошел к столу и принялся писать пылкое письмо возлюбленной; он молил ее о прощении и называл себя безумцем. Страницу за страницей исписывал он словами, исполненными страстного раскаяния и еще более страстной муки. В самобичевании есть своего рода сладострастие. К тому же, когда мы себя виним, мы знаем, что никто другой уже не вправе винить нас. Отпущение грехов дает нам не столько священник, сколько сама исповедь. Дориану достаточно было написать Сибилле, чтобы почувствовать себя прощенным.

Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри:

— Дориан, мне необходимо поговорить с вами. Впустите меня! Что это вы вздумали запираяться?

Дориан не отвечал и не двигался с места. Но стук повторился, еще громче и настойчивее. Да, он, пожалуй, впустит лорда Генри и объявит ему, что отныне он начинает новую жизнь. При необходимости он пойдет и на ссору с Гарри или даже на окончательный разрыв, если это окажется неизбежным.

Он вскочил, поспешно закрыл экраном портрет и отпер дверь.

— Я вам искренне сочувствую, Дориан, — были первые слова лорда Генри. — Но вы старайтесь не думать о том, что случилось.

— Вы имеете в виду Сибиллу Вейн? — спросил Дориан.

— Да, разумеется, — лорд Генри сел и стал медленно стаскивать с рук желтые перчатки. — Все это, конечно, ужасно, но я здесь не вижу вашей вины. Скажите... после спектакля вы ходили к ней за кулисы?

— Да, ходил.

— Я так и думал. И что, вы устроили ей сцену?

— Я был к ней жесток, Гарри, ужасно жесток! Но я уже успокоился и не жалею о том, что произошло. Это помогло мне лучше познать самого себя.

— Я рад, Дориан, что вы так относитесь к этому. Признаться, я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри.

— Через все это я уже прошел, — отозвался Дориан, с улыбкой покачав головой, — и теперь совершенно счастлив. Я наконец понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы о ней говорили, Гарри. Она — божественное начало в человеке. И больше не надо смеяться над этим — по крайней мере, при мне. Я хочу быть человеком, у которого чистая совесть, я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой.

— Какая прекрасная эстетическая основа для нравственности, Дориан! Поздравляю вас. И с чего же вы намерены начать?

— С женитьбы на Сибилле Вейн.

— На Сибилле Вейн! — воскликнул лорд Генри, вставая и с величайшим удивлением глядя на Дориана. — Но, дорогой мой, она...

— Ах, знаю, Гарри, что вы собираетесь мне сказать: какую-нибудь очередную гадость о браке. Прошу вас, не надо! Никогда больше не говорите мне таких вещей. Два дня тому назад я просил Сибиллу быть моей женой. И я своего слова не нарушу. Она будет моей женой.

— Будет вашей женой? Опомнитесь, Дориан!.. Постоите, разве вы не получили моего письма? Я его написал сегодня утром, и мой слуга отнес его вам.

— Письмо? Ах да... Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-нибудь такое, что мне будет не по душе. Вы своими парадоксальными сентенциями вскрываете жизнь, как хирург нарыв.

— Так вы ничего не знаете?

— Что вы имеете в виду?

Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дорианом, взял его за руки и крепко их сжал.

— Дориан, в письме... только прошу вас, не теряйте самообладания... в письме я вам сообщил, что Сибилла Вейн... умерла.

Горестный крик исторгся из груди Дориана. Он рывком высвободил руки и вскочил с кушетки:

— Умерла?! Сибилла умерла?! Этого не может быть! Это ложь! Как вы смеете так смеяться надо мной?

— Это правда, Дориан, — сказал лорд Генри серьезно. — Об этом сообщают сегодня все газеты. В своем письме я вам советовал никого до моего прихода не принимать. Наверное, будет следствие, и надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этом ужасном деле. В Париже подобные истории создают человеку репутацию, но в Лондоне у людей так много предрассудков. У нас никогда не стоит начинать карьеру со скандала. Скандалы приберегают на старость, чтобы подогреть к себе угасающий интерес. Надеюсь, в театре никто не знал, кто вы такой? В этом случае никаких бы проблем для вас не возникло. Кто-нибудь видел, как вы после спектакля входили к Сибилле? Это очень важный момент.

Дориан некоторое время не отвечал, не в силах опомниться от ужаса. Наконец он пробормотал, запинаясь:

— Вы сказали — следствие? Что вы имели в виду? Неужели Сибилла... Ах, Гарри, я этого не вынесу!.. Отвечайте же! Расскажите мне все!

— Сомнений нет, Дориан, это не просто несчастный случай, но хотелось бы, чтобы ни у кого не возникло подобных подозрений. Судя по всему, произошло вот что: когда девушка после спектакля уходила с матерью из театра — где-то около половины первого, — она вдруг сказала, что забыла какую-то вещь наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. Кончилось тем, что ее нашли мертвой на полу в гримерной. Она по ошибке проглотила какую-то гадость — из тех, что используют в театре для гримировки. Не знаю, что именно это было, но туда входит не то синильная кислота, не то свинцовые белила. Скорее всего, синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно.

— Боже, какой ужас! — простонал Дориан.

— Да, конечно, это трагедия, но нельзя, чтобы в ней оказались замешаны вы... Если верить «Стандарду», Сибилле Вейн было семнадцать. А на вид мне показалось, что ей еще меньше. Она выглядела совсем девочкой, к тому же играла, как неопытное дитя. Дориан, не принимайте этого близко к сердцу! Непременно приезжайте ко мне обедать, а потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти[52], и в театре будет весь свет. Мы заглянем в ложу моей сестры. Сегодня с ней приедут несколько эффектных женщин.

— Значит, я убил ее... — пробормотал Дориан Грей, словно обращаясь к самому себе. — Убил ее так же жестоко, как если бы перерезал ей ножом горло. И после этого, словно ничего не случилось, розы выглядят все такими же прекрасными, птицы все так же весело щебечут в саду. А вечером, как ни в чем не бывало, я обедаю в вашем обществе, потом еду в оперу, после чего отправляюсь куда-нибудь ужинать... Как трагична и в то же время как обыденна жизнь! Прочти я все это в книге, Гарри, я наверняка не сдержал бы слез. Но когда такое происходит в действительности, да еще со мной, мне это кажется настолько неправдоподобным, что глаза мои остаются сухими. Вот лежит написанное мною любовное письмо — первое в моей жизни. Не странно ли, что мое первое любовное письмо адресовано мертвой? Хотел бы я знать, чувствуют ли они что-нибудь, эти бессловесные, бледные существа, которых мы называем мертвыми? Ах, Сибилла!.. Может ли она ощущать, слышать, понимать? Если б вы только знали, Гарри, как я ее любил! Мне сейчас кажется, что это было многие годы назад. Тогда она была для меня всем. А потом пришел этот страшный вечер — неужели это было только вчера? — вечер, когда она играла так чудовищно, что у меня чуть не разорвалось сердце. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно... но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее пустой и ограниченной. Потом произошло нечто ужасное... не буду говорить, что именно, но меня это страшно напугало. И я решил вернуться к Сибилле. Я понял, что поступил дурно... И вот, оказывается, она умерла... Гарри, скажите, что мне теперь делать? Вы даже не подозреваете, в какой я опасности! И теперь некому удержать меня от падения. А она могла бы это сделать. Какое она имела право убивать себя? Это эгоистично с ее стороны!

— Дорогой мой Дориан, — произнес лорд Генри, доставая из портсигара папиросу. — Женщина может сделать мужчину праведником лишь одним способом: надоест ему до такой степени, что он потеряет вкус к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы были бы к ней очень добры, — это несложно, если человек тебе безразличен. Но скоро она поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина чувствует, что муж равнодушен к ней, она начинает кричаще и безвкусно одеваться или у нее появляются нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже об унижительности такого неравного брака, я вас уверяю, что, с учетом всех других обстоятельств, этот брак был бы обречен.

— Наверное, вы правы, — тихо произнес Дориан; он был мертвенно-бледен и беспокойно ходил взад и вперед по комнате. — Но я считал, что обязан жениться на ней. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить мой долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок: они всегда принимаются слишком поздно. Именно так случилось со мной.

— Благие намерения — попросту тщетные попытки идти против природы. Причиной их является излишнее самомнение, и они всегда оканчиваются ничем. Они, конечно, утешают нас, но далеко не всех, а преимущественно людей слабых. Благие намерения — это чеки, выписываемые людьми на имя банка, где у них нет текущего счета.

— Гарри! — воскликнул Дориан Грей, подходя к лорду Генри и садясь рядом с ним. — Почему я не страдаю так сильно, как мне надлежало бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?

— Назвать вас человеком без сердца никак нельзя, учитывая все те безрассудства, которые вы натворили за последние две недели, — ответил лорд Генри, меланхолически улыбаясь.

Дориан сдвинул брови.

— Мне не нравится такое объяснение, Гарри, но я рад, что вы не считаете меня бесчувственным. Я знаю, у меня есть чувства и есть душа — я абсолютно уверен в этом! И все же... то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Я воспринял все это, как неожиданную развязку какой-то увлекательной пьесы. В этой развязке — пугающая красота греческой трагедии, в которой я играл главную роль, но которая не затронула моей души.

— Зато вы затронули очень интересный вопрос, — сказал лорд Генри, которому доставляло огромное наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши. — Да, чрезвычайно интересный. Думаю, объяснить это можно следующим образом: подлинные трагедии в жизни зачастую облечены в столь неэстетичную форму, что оскорбляют наши чувства своим грубым неистовством, крайней бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам претят, как претит все вульгарное. Мы видим в них одну лишь грубую силу и восстаем

против этого. Но случается, что мы наталкиваемся в жизни на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если красота эта подлинная, то драматизм событий нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже не столько действующие лица, сколько зрители этой трагедии. А скорее всего имеет место и то, и другое сразу. Мы наблюдаем самих себя, и сама необычность такого зрелища нас увлекает. Что, в сущности, произошло в данном случае? А то, что юная девушка покончила с собой из-за любви к вам. Мне жаль, что в моей жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед нею. Но все, кто любил меня, — таких было не очень много, но все же они были, — продолжали жить и здравствовать еще много лет после того, как уходило мое чувство. Эти женщины становились толстыми, скучными и попросту невыносимыми. Когда мы сейчас встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, эта невероятная женская память — что это за наказание! И какую интеллектуальную косность она изобличает! Человек должен вбирать в себя краски жизни, но ни в коем случае не помнить ее подробностей. Подробности всегда вульгарны.

— В таком случае я должен посеять маки в своем саду[53], — со вздохом промолвил Дориан.

— В этом нет необходимости, — возразил его собеседник. — Жизнь всегда держит маки в своей руке.

Правда, иные вещи надолго задерживаются в нашей памяти. Однажды я в течение целого сезона носил в петлице только лишь фиалки — это было нечто вроде эстетического траура по одному любовному увлечению, которое не хотело умирать. Но в конце концов оно приказало долго жить. Уже не помню, что было причиной смерти. Скорее всего, обещание, данное предметом моей любви, пожертвовать для меня всем на свете. Это ужасное обещание: оно внушает человеку страх перед вечностью. Кстати, можете себе представить: на прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшир моей соседкой за столом оказалась именно эта дама, тот самый предмет моей любви. Увидев меня, она сразу же ударилась в воспоминания и принялась раскапывать прошлое и ворошить будущее. Я похоронил этот роман в могиле под асфоделью[54], а она снова вытащила его на свет божий и уверяла меня, что я разбил ей всю жизнь. Должен отметить, что за обедом она уписывала блюда с завидным аппетитом, так что я за нее не тревожусь. Но какова бестактность! Какое отсутствие вкуса! Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно в прошлом. А женщины никогда не хотят замечать, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт! Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему уже пропал. Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия переходила бы в фарс. Женщины в жизни — прекрасные актрисы, но у них нет артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Дориан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми я был знаком, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибилла Вейн. Обычные женщины утешаются в этих случаях достаточно легко. Некоторые из них находят утешение в том, что носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщинам, которые, независимо от возраста, носят платья лилового цвета, или тем, кто после тридцати пяти лет питает пристрастие к розовым лентам: это, за редкими исключениями, женщины с бурным прошлым. Другие утешаются тем, что неожиданно открывают какие-нибудь достоинства в своих мужьях. Они щеголяют своим супружеским счастьем, словно это изысканнейшее из прегрешений. Есть и такие, кто ищет утешение в религии. Таинства религии приобретают для них всю прелесть флирта, как однажды призналась мне одна женщина, и я охотно этому верю. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация грешницы. Совесть всех нас делает эгоистами... Да, не счесть всех утешений, которые находят современные женщины. Причем я не упомянул еще о самом главном из них...

— О каком, Гарри? — спросил Дориан рассеянно.

— Лучшее утешение для женщины — это отбить чужого поклонника, когда не можешь удержать своего, и те, кому это удается, пользуются в обществе особенно высокой репутацией. Но до чего же, должно быть, Сибилла Вейн отличалась от большинства современных женщин! В ее смерти, на мой взгляд, есть нечто возвышенно прекрасное. Я рад, что живу в такое время, когда могут происходить подобного рода необыкновенные вещи. Это вселяет в меня веру в существование романтических чувств, пылкой страсти и настоящей любви.

— Вы забываете, с какой жестокостью я с ней обошелся.

— Женщины — существа, наделенные примитивными инстинктами, поэтому обожают жестокость. Мы им подарили свободу, но они все равно по сути своей остаются рабынями и не могут обходиться без господина. Они любят, чтобы ими руководили... Я уверен — в ту минуту вы были великолепны. Никогда не видел вас по-настоящему разгневанным, но могу представить себе, как восхитительно вы выглядели. Позавчера вы мне сказали одну вещь, которую я тогда воспринял как своего рода игру ума, но сейчас я вижу, что вы были абсолютно правы и что этим многое объясняется.

— И что же я такое сказал?

— Что Сибилла Вейн воплощает в себе образы всех романтических героинь. Сегодня она — Дездемона, завтра — Офелия; сегодня она умирает как Джульетта, завтра воскресает как Имоджена.

— Теперь она уже никогда не воскреснет... — едва слышно проговорил Дориан, закрывая лицо руками.

— Увы, не воскреснет. Свою последнюю роль она уже сыграла. Но вы ее одинокую смерть в жалкой театральной уборной должны воспринимать как эффектный эпизод из какой-нибудь трагедии шестнадцатого века, сценой из Вебстера, Форда или Сирила Тернера[55]. Эта девушка, в сущности, не жила — а значит, и не умирала. Для вас она была только видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира и сделавшим их еще прекраснее, свирелью, придававшей музыке Шекспира еще больше сладостного очарования. Но первое же столкновение с реальностью ужаснуло ее, и она ушла из этого мира. Оплакивайте же Офелию, если вам угодно. Посыпайте голову пеплом, горюя о задушенной Корделии. Кляните небеса за гибель дочери Бранцио[56]. Но не лейте напрасно слез о Сибилле Вейн. Она была даже менее реальна, чем все эти героини.

Наступило молчание. В комнате сгущались вечерние сумерки. Из сада бесшумно прокрадывались серебряные тени. Медленно блекли дневные краски.

Через некоторое время Дориан Грей поднял глаза и, глубоко и облегченно вздохнув, негромко проговорил:

— Вы помогли мне понять себя, Гарри. Я и сам смутно чувствовал то, что вы мне сейчас сказали, но боялся об этом думать и не умел выразить это словами. Как же хорошо вы меня знаете! Но не будем больше говорить о случившемся. В моей памяти это останется как изумительный сон, не более. Хотел бы я знать, суждено ли мне в будущем испытать нечто столь же необыкновенное, или такое бывает только раз в жизни?

— Вас ждет еще много необыкновенных переживаний, Дориан. При такой красоте для вас нет и не может быть ничего невозможного.

— Но придет время, и я стану безобразным, старым и сморщенным. Что тогда?

— Ну, тогда, — сказал лорд Генри, вставая и собираясь уходить, — тогда, мой дорогой, вам придется сражаться за каждую свою победу, хотя сейчас они вам достаются без малейших усилий. Но вы должны беречь свою красоту. Она нам необходима. В наш век люди слишком много читают, чтобы быть мудрыми, и слишком много думают, чтобы быть красивыми. Ну а теперь вам, пожалуй, пора одеваться и ехать в клуб. Мы и так уже запаздываем.

— Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я чувствую себя слишком усталым, чтобы обедать. Какой номер ложи вашей сестры?

— Кажется, двадцать семь. Это в бельэтаже, на дверях вы увидите ее имя. Мне очень жаль, Дориан, что вы не будете со мной обедать.

— Право же, я не в силах, — промолвил Дориан усталым голосом. — Я вам так благодарен, Гарри, за все, что вы мне сказали. Вы безусловно мой лучший друг. Никто не понимает меня, как вы.

— Это еще только начало нашей дружбы, — улыбнулся лорд Генри, пожимая ему руку. — Что ж, надеюсь увидеть вас не позднее половины десятого. Помните — поет Патти.

Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил, и через несколько минут появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан нетерпеливо ждал, когда же тот наконец уйдет. Ему казалось, что камердинер сегодня как никогда медлителен.

Как только Виктор ушел, Дориан бросился к экрану и отодвинул его. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибиллы Вейн достигла его изображения раньше, чем его самого. Портрет узнавал о событиях в жизни Дориана сразу же, как они происходили. И это жестокое выражение в линии губ появилось в тот самый миг, как девушка выпила яд. А, может быть, дело не в самих событиях в его жизни, а в том, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан спросил у себя: а что, если в один прекрасный день портрет станет изменяться прямо у него на глазах? Он содрогнулся при одной только мысли об этом, но в то же время у него возникло острое желание это увидеть.

Бедная Сибилла! Она так часто изображала на сцене смерть, что смерть в конце концов явилась за нею. Интересно, как она сыграла эту свою последнюю роль? Проклинала ли его, умирая? Нет, ибо она умерла от любви к нему, и отныне любовь для него будет всегда святыней. Своим уходом из жизни Сибилла искупила свою вину перед ним, и он не будет больше думать о том, сколько выстрадал из-за нее в тот ужасный вечер в театре. Она останется в его памяти как дивный трагический образ, посланный на великую сцену жизни, чтобы явить миру высшую сущность Любви. Дивный трагический образ? При воспоминании о детском личике Сибиллы, о ее пленительной живости и застенчивой грации Дориан почувствовал на глазах слезы. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет.

Да, подумал Дориан, наступила пора сделать выбор и решать, как жить дальше. А, может быть, сама жизнь сделала за него этот выбор? Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и иступленное безумие греха — все это он должен изведать! А бремя его позора пусть лежит на портрете.

На миг ему стало больно при мысли, что прекрасное лицо на портрете будет становиться с каждым днем безобразнее. Однажды, много дней назад, он, словно подражая Нарциссу, поцеловал — или сделал вид, что целует — изображенные на полотне губы, так злобно улыбающиеся ему в эту минуту. Утро за утром он приходил сюда и подолгу простаивал перед портретом, дивясь его красоте и чувствуя, как он все больше околдовывает его. Неужели каждое движение его души будет теперь отражаться на портрете? Неужели его двойник действительно станет настолько безобразным, что придется его упрятать под замок, подальше от солнечных лучей, золотивших эти прекрасные кудри? Как бесконечно жаль!

Вдруг им овладело страстное желание молить высшие силы о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Ведь портрет стал изменяться именно потому, что он однажды взмолился об этом — так, может быть, после новой мольбы портрет утратит свое страшное свойство?

Но разве он найдет в себе силы отказаться от возможности остаться вечно молодым, как бы ни была эфемерна эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила? И разве в его это власти? В самом ли деле его мольба послужила причиной таких изменений в портрете? Не скрываются ли причины в каких-то непостижимых законах природы? Если мысль способна влиять на живой организм, так, может быть, она влияет и на неодушевленные предметы? Более того, не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами даже без участия нашей мысли или сознательной воли? Не способен ли атом стремиться к другому атому под влиянием таинственного тяготения или удивительного сродства? Впрочем, не все ли равно, какова причина? Нет, он не станет призывать темные силы, чтобы те помогли ему. Если портрету суждено меняться, значит, он должен меняться. Зачем в это вдумываться? Ведь наблюдение за процессом этих изменений может доставлять ему огромное наслаждение! Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные движения своей души, станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника наступит зима, для него будет продолжаться прекрасная и мимолетно краткая пора между весной и летом. Когда с лица на портрете сойдут краски и оно превратится в мертвенно-бледную маску с оловянными глазами, его собственное лицо будет по-прежнему сохранять чарующие краски юности. Цветение его красоты будет продолжаться до конца его дней, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, радостным и неутомимым. Не все ли равно, что станет с его портретом? Ему самому теперь нечего будет бояться, а это — самое главное.

Дориан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место и отправился в спальню, где его ожидал камердинер. Через час он был уже в опере. Лорд Генри сидел сзади, опершись на его кресло.

Глава IX

На другое утро, когда Дориан завтракал, пришел Бэзил Холлуорд.

— Я рад, что застал вас дома, Дориан, — сказал он серьезным тоном. — Я заходил к вам вчера вечером, но мне сообщили, что вы в опере. Разумеется, я этому не поверил. Жаль, что вы никому не сказали, куда отправились на самом деле. Я весь вечер ужасно за вас тревожился и, признаться, даже боялся, как бы за одним несчастьем не последовало другое. Вам нужно было вызвать меня телеграммой сразу же, как вы узнали о трагедии. Я прочел об этом в вечернем выпуске «Глоба»[57], когда был в клубе... Тотчас же поехал к вам, но, к сожалению, не застал вас дома. Не могу вам выразить, до чего потрясло меня это несчастье! Представляю, как вам тяжело... И все же, где вы были вчера? Вероятно, ездили к ее матери? В первую минуту я тоже хотел к ней поехать — адрес я узнал из газеты. Это, помнится, где-то на Юстон-роуд? Но побоялся, что буду там лишним. Несчастливая мать! Воображаю, в каком она состоянии! Ведь это ее единственная дочь. Как она держалась, что говорила?

— Откуда я знаю, мой дорогой Бэзил! — проронил Дориан Грей с недовольным видом, потягивая светло-желтое вино из тонкого, в золотых бусинках, бокала из венецианского стекла. — Вчера я был в опере. Напрасно вы не приехали. Я познакомился с сестрой Гарри, леди Гвендолен, — мы сидели у нее в ложе.

Обворожительная женщина! А Патти пела божественно. Не будем говорить о трагическом, Бэзил. Если о чем-то не говорить, значит, этого как бы и не было. Но стоит упомянуть что-нибудь, как оно тут же приобретает реальность. Кстати, это сказал Гарри. Ну а что касается матери Сибиллы... У нее есть еще сын; судя по всему, славный малый. Но он не актер, а моряк или что-то в этом роде. Расскажите-ка лучше о себе. Над чем вы сейчас работаете?

— Вы были... в опере? — не веря своим ушам переспросил Бэзил. — Вы поехали туда, зная, что Сибилла Вейн лежит мертвая в своем убогом жилище? Вы мне говорите о красоте других женщин и о божественном пении Патти, хотя девушка, которую вы любили, еще не обрела покоя в могиле?

— Перестаньте, Бэзил! Я не хочу ничего слушать! — воскликнул Дориан и вскочил. — Не говорите больше об этом. Что было, то было, и что прошло, то осталось в прошлом.

— Вчерашний день вы называете прошлым?!

— Сколько с той поры прошло времени, не имеет значения. Только ограниченным людям нужны годы, чтобы забыть о каком-либо чувстве или впечатлении. Человек же, умеющий владеть собой, расстается с печалью так же легко, как и находит новые источники радости. Я не собираюсь быть рабом своих переживаний. Я хочу извлечь из них все, что можно, и насладиться ими. Хочу властвовать над своими чувствами.

— Дориан, это ужасно! Вы стали совершенно другим человеком. На вид вы все тот же славный юноша, который приходил ко мне в студию позировать. Тогда вы были простодушны, непосредственны и добры, вы были самым неиспорченным молодым человеком на свете. А сейчас... Не понимаю, что с вами случилось. Вы говорите, как человек без сердца, как совершенно безжалостный человек. Все это влияние Гарри. Я уверен в этом.

Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на мерцающее в ярком солнечном свете зеленое море сада.

— Я стольким обязан Гарри, — произнес он наконец. — Он сделал для меня намного больше, чем вы, Бэзил. Вы же лишь разбудили во мне тщеславие.

— И я за это уже наказан... или когда-нибудь буду наказан.

— Я вас не понимаю, Бэзил! — воскликнул Дориан, оборачиваясь. — И не знаю, чего вы от меня хотите. Скажите, что вам от меня нужно?

— Мне нужен тот Дориан Грей, которого я изобразил на портрете, — с грустью отвечал художник.

— Бэзил, — Дориан подошел к нему и положил ему руку на плечо, — вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибилла покончила с собой...

— Покончила с собой? Не может быть! — воскликнул Холлуорд, в ужасе глядя на Дориана.

— Неужели вы могли подумать, что это был какой-то заурядный, вульгарный несчастный случай? Разумеется, нет! Она сама лишила себя жизни.

Художник закрыл лицо руками.

— Это страшно! — прошептал он, и его передернуло.

— Вовсе нет, — возразил Дориан Грей. — Ничего страшного я в этом не вижу. Ее смерть — одна из величайших романтических трагедий нашего времени. У обыкновенных актеров жизнь тоже самая обыкновенная. Все они примерные мужья или примерные жены — словом, скучнейшие люди и носители мещанских добродетелей. Как непохожа на них была Сибилла! Ее жизнь была драмой, а финал — трагедией, и она играла главную роль. В последний свой вечер, в тот вечер, когда вы увидели ее на сцене, она играла плохо лишь оттого, что познала реальность настоящей любви. А когда узнала ее нереальность, умерла, как могла бы умереть Джульетта. Тем самым она снова перешла из сферы жизни в сферу искусства. Ее окружает ореол мученичества. Да, я усматриваю в ее смерти прискорбную бесполезность мученичества, его понапрасну растраченную красоту... Но не думайте, Бэзил, что я не страдал. Если бы вы пришли вчера где-то около половины шестого, вы застали бы меня в слезах. Даже Гарри — он-то и принес мне эту прискорбную весть — не смог до конца представить, что мне пришлось пережить. Я ужасно страдал. А потом все прошло. Не могу же я одно и то же чувство переживать несколько раз. И никто не может, разве что очень сентиментальные люди. Вы ужасно несправедливы ко мне, Бэзил. Вы пришли меня утешить, и это очень мило с вашей стороны, но оказалось, что утешать меня не надо, — поэтому вы и злитесь. Вот оно, людское сочувствие! Я вспоминаю одну историю, которую рассказал мне Гарри, про одного филантропа, который двадцать лет жизни потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом — забыл уже, с чем именно. В конце концов он добился своего — и тогда наступило жестокое разочарование. Ему больше решительно нечего было делать, он умирал со скуки и со временем превратился в убежденного мизантропа. Так-то, дорогой друг! Если

вы действительно хотите меня утешить, научите, как быстрее забыть то, что случилось, или, по крайней мере, как смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье[58] писал об утешении, которое мы находим в искусстве? Помню, однажды у вас в студии мне попала под руку книжечка в веленовой обложке, и, листая ее, я наткнулся именно на это замечательное выражение: *la consolation des arts*[59]. Но уверяю вас, я нисколько не похож на того молодого человека, про которого вы мне рассказывали, когда мы с вами ездили в Марлоу[60]. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных невзгодах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, позеленевшая от времени бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, пышность — все это, безусловно, доставляет мне огромное удовольствие. Но для меня гораздо важнее то чувство прекрасного, то художественное чутье, которое они порождают или, если угодно, пробуждают в человеке. Стать, как выражается Гарри, наблюдателем своей собственной жизни — значит уберечь себя от страданий. Знаю, вас удивляет то, что я вам говорю эти вещи. Вы не совсем представляете себе, насколько я духовно повзрослел. Когда мы познакомились, я был еще мальчиком, сейчас я — мужчина. У меня появились новые чувства, новые мысли, новые взгляды. Да, я стал совершенно другим, но я не хочу, Бэзил, чтобы вы меня из-за этого разлюбили. Я изменился, но вы должны всегда оставаться моим другом. Конечно, я очень привязан к Гарри. Но я знаю, что вы лучше его. Вы не сильнее его, потому что слишком боитесь жизни, зато вы лучше. Мне всегда было хорошо в вашем обществе. Не оставляйте же меня, Бэзил, и не ссорьтесь со мной. Я таков, каков есть, и ничего с этим не поделаешь.

Холлуорд невольно был тронут. Этот юноша был ему бесконечно дорог, и знакомство с ним стало как бы поворотным пунктом в его творчестве. Он больше не смел упрекать Дориана, и ему оставалось утешаться той мыслью, что черствость его юного друга — преходящее минутное настроение. Ведь у Дориана столько хороших качеств, в нем столько благородства!

— Ну, хорошо, Дориан, — сказал он наконец с грустной улыбкой, — не будем больше упоминать об этой страшной истории. Хочу лишь надеяться, что ваше имя не будет связано с нею. Дознание обстоятельств смерти назначено на сегодня. Вас не вызывали?

Дориан досадливо поморщился при упоминании о дознании и отрицательно покачал головой. Такие вещи он находил крайне вульгарными и неприятными.

— Моя фамилия в театре никому не известна, — ответил он.

— Но девушка-то наверняка ее знала?

— Нет, только имя. И я совершенно уверен, что она никому его не называла. Она мне не раз говорила, что в театре многие интересуются, кто я, но на все их вопросы она отвечала, что мое имя — Прекрасный Принц. Трогательно, не правда ли? Вы должны нарисовать мне Сибиллу, Бэзил. Мне хотелось бы не только вспоминать о нескольких ее поцелуях и нежных словах, но иногда и смотреть на нее.

— Что ж, попробую, Дориан, раз вам так хочется. Но вы и сами должны мне позировать. Я не могу без вас обойтись.

— Больше никогда я вам не буду позировать, Бэзил. Это исключено! — испуганно воскликнул Дориан, отшатываясь от художника.

Бэзил удивленно посмотрел на него.

— Как это понять, Дориан? Неужели вам не нравится ваш портрет? А кстати, где он? Зачем вы его заслонили экраном? Дайте мне взглянуть на него. Ведь это моя лучшая работа. Прошу вас, уберите этот экран. Не вашему ли слуге пришло в голову спрятать портрет в углу? То-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате чего-то недостает.

— Слуга здесь ни при чем, Бэзил. Неужели вы думаете, что я позволю ему без спросу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня — и всё. А экран перед портретом поставил я сам: в этом месте слишком яркое освещение.

— Яркое освещение? Ерунда, мой дорогой. Для портрета это самое подходящее место. Дайте же мне на него взглянуть.

И Холлуорд направился к тому углу комнаты, где стоял портрет.

Крик ужаса вырвался у Дориана. Бросившись вдогонку за Холлуордом, он встал между ним и экраном.

— Бэзил, — промолвил он, страшно побледнев, — вы не должны его видеть! Я этого не хочу!

— Вы шутите! Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение? Это еще почему? — воскликнул Холлуорд со смехом.

— Только посмейте это сделать, Бэзил, и вы станете моим врагом на всю жизнь! Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашивайте. Но знайте — если вы только

дотронетесь до экрана, между нами все кончено.

Холлуорд стоял как громом пораженный и недоуменно смотрел на Дориана. Никогда еще он не видел его таким: лицо юноши побледнело от гнева, руки были сжаты в кулаки, глаза метали синие молнии. Он весь дрожал.

— Дориан!

— Не надо ничего говорить!

— Господи, да что это с вами? Разумеется, я не стану смотреть, раз это вас так волнует, — сухо сказал художник и, круто повернувшись, отошел к окну. — И все-таки это какой-то абсурд — не давать художнику смотреть на свою собственную картину! Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, перед этим понадобится заново покрыть ее лаком. А стало быть, увидеть ее я все равно должен — так почему бы не сделать это прямо сейчас?

— На выставку? Вы хотите ее выставить? — переспросил Дориан Грей, чувствуя, как холодеет от страха.

Это означало, что весь мир узнает его страшную тайну и люди будут бесцеремонно заглядывать в самые сокровенные глубины его души. Но это совершенно невыносимо! Что-то нужно немедленно предпринять, чтобы этого не допустить. Но вот что?

— Да, в Париже. Надеюсь, против этого вы не станете возражать? — говорил между тем художник. — Жорж Пети намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на Рю-де-Сэз. Откроется она в первых числах октября. Портрет увезут не более чем на месяц. Думаю, что вы сможете на такое короткое время обойтись без него. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом — если вы держите его за экраном, значит, не слишком им дорожите.

Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели.

— Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что на свете его не выставите! Почему вы вдруг передумали? Вы ведь из тех людей, кто не бросает слов на ветер, но, оказывается, и вы человек настроения, причем ваши настроения абсолютно непредсказуемы. Вы ведь уверяли меня, что ни в коем случае не пошлете портрет на выставку, — надеюсь, вы помните это? Гарри, например, отлично помнит. Так что же могло измениться с тех пор?

Дориан вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри как-то раз сказал ему полушутя: «Если когда-нибудь захотите услышать самое противоречивое утверждение, какое только может прозвучать из уст человека, попросите Бэзила объяснить, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он уже объяснял, и я ничего не понял». Не значит ли это, что и у Бэзила есть своя тайна! Что ж, он попытается ее выведать.

— Бэзил, — сказал он, подойдя к Холлуорду и взглянув ему прямо в глаза, — у каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Итак, почему вы не хотели выставлять мой портрет?

Художник невольно вздрогнул и проговорил:

— Дориан, если я вам это скажу, вы будете смеяться надо мной и я много потеряю в ваших глазах. А я бы этого никак не хотел. Если для вас так важно, чтобы я никогда больше не видел этот портрет, пусть будет так: ведь у меня есть возможность видеть вас. И если вы хотите скрыть от мира мое лучшее произведение, я возражать не стану: ваша дружба мне дороже славы.

— Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Бэзил, — настаивал Дориан. — Мне кажется, я имею право знать.

Он больше не испытывал страха — его место заняло любопытство. Он твердо решил выведать у Холлуорда его тайну.

— Давайте присядем, Дориан, — сказал художник, не скрывая своего волнения. — Прежде чем я начну, ответьте мне на один вопрос. Вы не заметили в портрете чего-нибудь странного? Чего-то такого, что сперва, может быть, в глаза не бросалось, но потом внезапно стало заметным?

— Ах, Боже мой, Бэзил! — воскликнул Дориан, дрожащими руками хватаясь за подлокотники и с ужасом глядя на художника.

— Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дориан, сначала выслушайте меня. С первой же нашей встречи я стал словно одержим вами. Вы сразу же приобрели какую-то непостижимую власть над моей душой, рассудком, талантом, стали для меня воплощением того идеала, который художники ищут всю жизнь, а он им является лишь во сне. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь другим, как я уже начинал ревновать. Я хотел, чтобы ваша душа принадлежала лишь мне одному, и чувствовал себя по-настоящему счастливым

только тогда, когда вы были со мной. И даже когда вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении. Разумеется, я ни разу, ни единым словом не обмолвился вам об этом — ведь вас бы это только привело в недоумение. Да и сам я не очень-то понимал, что со мной происходит. Я лишь чувствовал, что вижу перед собой само совершенство, и это делало мир восхитительным. В такого рода безумных увлечениях таится большая опасность или излечиться от них, что делает человека опустошенным, или продолжать безумствовать, что приносит человеку одни лишь страдания. Проходили недели, а я был все так же или даже в еще большей степени одержим вами. Затем события приняли иной, неожиданный оборот. До этого я уже успел написать вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника, со сверкающим копьем в руках. В венке из тяжелых цветков лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого Нила. Вы склонялись над зеркальной серебряной гладью тихого озера в тенистых рощах Эллады, любуясь отражением своей несравненной красоты. И вот в один прекрасный день — а может быть, в роковой день, как мне кажется иногда, — я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, — не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в обыденной обстановке. Не знаю, из-за чего — то ли из-за реалистической манеры письма, то ли из-за обаяния вашей личности, представшей передо мной во всей своей непосредственности, — но, когда я вас писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый слой краски все больше раскрывает тайну моей души. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, насколько я боготворю вас. Я чувствовал, что выразил в этом портрете нечто глубоко сокровенное, вложил в него слишком много самого себя. Вот тогда-то я и решил ни за что не выставлять его. Вам было досадно — ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины. А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, лишь высмеял меня. Впрочем, меня это несколько не задело. Когда портрет был окончен, я, вглядываясь в него, убедился, что был совершенно прав. А через несколько дней он покинул мою мастерскую, и, как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это было игрой фантазии, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мое умение как художника отобразить ее. Даже и сейчас мне кажется, что чувства художника не обязательно отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы привыкли считать. Форма и краски говорят нам лишь о том, что они форма и краски, — не более. И мне все чаще начинает казаться, что искусство в гораздо большей степени скрывает художника, чем раскрывает его...

Поэтому, когда я получил предложение из Парижа выставиться, я решил, что ваш портрет будет украшением моей экспозиции. Мог ли я ожидать, что вы станете так возражать? Ну а теперь я начинаю думать, что вы совершенно правы: портрет и в самом деле не стоит выставлять. Не сердитесь на меня, Дориан, за то, что я вам наговорил. Как я однажды сказал нашему Гарри, вы созданы для того, чтобы перед вами преклонялись.

Дориан Грей с облегчением вздохнул. Щеки его снова порозовели. Губы улыбались. Опасность миновала. В ближайшее время ему ничто не будет угрожать! В то же время он испытывал безграничную жалость к художнику, сделавшему ему такое странное признание, и спрашивал у себя, не суждено ли ему самому когда-нибудь оказаться всецело во власти чужой души? Лорд Генри его привлекает, как привлекает людей все опасное, и не более. Он слишком умен и слишком циничен, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему испытать и такое?

— Я поражен, Дориан, что вы сумели разглядеть это в портрете, — сказал Бэзил Холлуорд. — Вы и вправду это заметили?

— Да, кое-что я заметил. И это меня немало поразило.

— Ну а теперь вы мне дадите взглянуть на портрет?

Дориан покачал головой.

— Нет, нет и еще раз нет, Бэзил. Я не позволю вам и близко к нему подойти.

— Но когда-нибудь, я надеюсь, позволите?

— Никогда.

— Что ж, возможно, вы и правы. Прощайте, Дориан. Вы единственный человек, по-настоящему повлиявший на мое искусство. И всем, что я создал ценного, я обязан вам... Если б вы знали, чего мне стоило это признание!

— В чем же особенном вы мне признались, дорогой Бэзил? Только в том, что слишком мною восхищались? Право, это даже не комплимент.

— А я и не собирался говорить вам комплименты. Это, по сути, была моя исповедь. И у меня теперь такое чувство, словно я что-то утратил. Наверно, никогда не стоит выражать свои чувства в словах.

— По правде говоря, Бэзил, я ожидал услышать от вас иного рода признание.

— Вот как? Разве вы заметили в портрете что-то еще другое?

— Нет, ничего. Почему вы об этом спрашиваете? Ну а что касается преклонения передо мной — об этом говорить не стоит, все это глупости. Мы с вами друзья, Бэзил, и всегда должны оставаться друзьями.

— Мне давно уже кажется, что вам достаточно дружбы с одним только Гарри, — меланхолически произнес Холлуорд.

— Ах, этот Гарри! — рассмеялся Дориан. — Он проводит свои дни, изрекая нечто неправдоподобное, а вечера — совершая нечто невероятное. Такая жизнь мне, конечно, по вкусу, но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри — скорее бы к вам, Бэзил.

— Значит, вы снова будете мне позировать?

— Я же вам сказал — никогда!

— Своим отказом вы убиваете меня как художника. Никому еще не приходилось встречать свой идеал два раза в жизни. Да и один раз он мало кому встречается.

— Не буду объяснять, почему, но мне больше нельзя вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей, самостоятельной жизнью. Зато я буду приходить к вам на чай. Это ничем не хуже — нам обоим это будет так же приятно.

— Боюсь, для вас это будет намного приятнее, чем позировать, — огорченно произнес Холлуорд. — До свидания, Дориан. Очень жаль, что я не смог взглянуть на портрет. Но что поделаешь! Я вас вполне понимаю.

Когда он ушел, Дориан иронически усмехнулся. Бедный Бэзил, он даже отдаленно не догадывается, почему его не подпустили к портрету! И как это вышло странно, что вместо того чтобы раскрыть свою тайну, Дориан случайно узнал тайну Бэзила. После признания художника ему многое стало понятным. Нелепые вспышки ревности и странная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы в его честь, а по временам угрюмая сдержанность и скрытность — все это теперь объяснилось. И Дориану стало грустно. Ему виделось что-то трагическое в дружбе, окрашенной романтической влюбленностью.

Он вздохнул и позвонил камердинеру. Портрет во что бы то ни стало нужно унести отсюда и куда-нибудь спрятать! Оставлять его в комнате, куда имеет свободный доступ кто угодно из его друзей, слишком рискованно — даже на какой-нибудь час. Эпизод с Бэзилем Холлуордом продемонстрировал это в полной мере.

Глава X

Когда вошел Виктор, Дориан пытливо посмотрел на него, пытаясь определить, не заглядывал ли он за экран. Камердинер с самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дориан закурил папиросу и подошел к зеркалу. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора. На этом лице не выражалось ничего, кроме невозмутимой готовности выполнять приказания. Значит, опасаться нечего. И все же он решил, что надо быть настороже.

Он приказал Виктору позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двух рабочих.

Ему показалось, что камердинер, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это только ему почудилось?

Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лиф в черном шелковом платье и старомодных нитяных митенках на морщинистых руках. Дориан попросил у нее ключ от бывшей детской.

— От бывшей детской, мистер Дориан? — воскликнула она. — Но там полно пыли! Я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок. А сейчас вам туда и заглядывать нельзя! Никак нельзя!

— Мне не нужно, чтобы ее убирали, миссис Лиф. Мне только нужен ключ.

— Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Ведь уже пять лет как комнату не открывали — со дня смерти его светлости.

При упоминании о старом лорде его передернуло: у Дориана остались не лучшие воспоминания о покойном деде.

— Это не важно, — ответил он. — Я только загляну туда на минутку и сразу же выйду. Дайте мне ключ.

— Вот, возьмите, сэр, — сказала старая дама, перебирая дрожащими руками связку ключей. — Погодите, сейчас я сниму его с кольца. Но вы же не думаете перебираться туда, сэр? Здесь, внизу, у вас так уютно!

— Нет, не думаю, — нетерпеливо заверил ее Дориан. — Спасибо, миссис Лиф, можете идти.

Но экономка стала рассказывать ему о каких-то проблемах, связанных с домашним хозяйством. Вздыхнув, Дориан сказал ей, что во всем полагается на ее здравый смысл, и она наконец удалилась, весьма довольная собой.

Как только за ней закрылась дверь, Дориан сунул ключ в карман и окинул комнату беглым взглядом. Глаза его остановились на атласном покрывале, пурпурном, богато расшитом золотом — великолепном образце венецианского искусства конца XVII века. Оно было привезено его дедом из монастыря близ Болоньи. Что ж, покрывало прекрасно подойдет в качестве чехла для портрета. Быть может, оно некогда служило саваном для мертвых, и вот теперь укроет картину разложения, более страшного, чем разложение мертвого тела, ибо то, что будет скрыто под ним, имеет вид еще более жуткий, чем покойник, но, в отличие от него, никогда не умрет. Пороки Дориана Грея, подобно червям, уничтожающим мертвую плоть, будут пожирать его изображение на полотне. Они изложут его красоту и уничтожат его очарование. Они выедят в нем все, кроме пороков. Но сам портрет все равно будет цел. Он будет жить вечно.

Дориан уже жалел, что не сказал Холлуорду правду. Бэзил поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с его собственным влиянием на себя, быть может, еще более опасным. Любовь, которую испытывает к нему Бэзил (а это, несомненно, самая настоящая любовь), — чувство благородное и возвышенное. Это не обычное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающее, когда они ослабевают в человеке. Нет, это такая любовь, какую воспевали Микельанджело, Монтень, Винкельман[61] и Шекспир. Да, Бэзил мог бы спасти его. Но теперь уже поздно. Прошлое можно изгладить раскаянием, забвением или отречением, будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые будут искать себе выход, и смутные грезы, которые станут явью.

Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в руках, зашел за экран. Не стало ли лицо на портрете еще более отталкивающим? Нет, никаких новых изменений заметно не было. И все же Дориан не мог теперь смотреть на него без отвращения. Золотые волосы, голубые глаза и алые губы — все это оставалось таким, как было и раньше. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью, оно свидетельствовало против Дориана, неся в себе осуждение столь очевидное, что все укоры Бэзила казались в сравнении несущественными и безобидными. С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу.

С гримасой боли Дориан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз в тот момент, когда в комнату вошел камердинер.

— Пришли рабочие, месье.

Дориан решил, что Виктора надо как можно скорее отослать с поручением, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. Глаза у Виктора умные, в них светится хитрость, а может быть, и коварство.

И, сев за стол, Дориан настроил лорду Генри записку, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминал, что они должны встретиться вечером в четверть девятого.

— Передайте это лорду Генри и подождите ответа, — сказал он Виктору, вручая ему записку. — А рабочих проводите сюда.

Через две-три минуты в дверь вновь постучали, и появился сам мистер Хаббард, знаменитый багетный мастер с Саут-Одли-стрит, а с ним его помощник, неотесанный на вид парень. Мистер Хаббард представлял из себя невысокого румяного индивида с рыжими бакенбардами. Его пылкое поклонение искусству в значительной степени умерялось хроническим безденежьем большинства из его клиентов, каковыми являлись художники. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было нечто такое, что всех располагало к нему. Приятно было уже смотреть на него.

— Чем могу служить, мистер Грей? — осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. — Я счел за лучшее лично явиться к вам. Как раз сейчас у меня есть чудесная рама, сэр. Она мне досталась на распродаже. Старинная, флорентийская — должно быть, из Фонтхилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей!

— Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я зайду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью. Но сегодня мне только требуется перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей.

— Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство! Я буду только рад вам помочь. И где эта картина, сэр?

— Вот она, — ответил Дориан, отодвигая экран. — Я хотел бы, чтобы ее перенесли в том виде, как она

есть, не снимая покрывала. Боюсь, как бы ее не поцарапали.

— Это не составит труда, сэ, — услужливо ответил багетчик и с помощью подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он был подвешен. — Куда прикажете перенести, мистер Грей?

— Я покажу, мистер Хаббард. Прошу следовать за мной. Хотя, пожалуй, вам лучше идти впереди. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире.

Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице на верхний этаж. Из-за украшений на массивной раме портрет был чрезвычайно тяжелым, так что время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как и все люди его сословия, терпеть не мог, когда «благородные джентльмены» делают что-то полезное.

— М-да, увесистая штука, сэ, — пробормотал багетчик, остановившись передохнуть, когда портрет был затащен на верхнюю площадку лестницы, и вытирая потную лысину.

— Да, картина тяжелая, — согласился Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его удивительную тайну и скрывать его душу от людских глаз.

Сюда он не заходил больше четырех лет. Когда он был маленьким, здесь была его детская, а потом, когда вырос, — комната для занятий и кабинет. Эту большую, удобную комнату покойный лорд Келсо пристроил специально для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то иным причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. С тех пор, подумал Дориан, в комнате ничего не изменилось. На том же месте стоял громадный итальянский сундук — cassone — с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени позолоченными украшениями; в нем любил прятаться маленький Дориан. Все там же был и книжный шкаф из красного дерева, набитый растрепанными учебниками, а на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен, на котором сильно вылинявшие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницей проезжали на конях охотники, держа на своих рукавицах соколов в клубочках. Все здесь было ему до боли знакомо. Каждая минута его одинокого детства встала сейчас перед ним. К нему возвратилось ощущение непорочной чистоты детской жизни, и ему стало не по себе при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее!

Но в доме не было другого такого места, где портрет был бы столь же надежно укрыт от посторонних глаз. Ключ теперь будет всегда при нем, и попасть сюда не сможет никто другой. И пусть себе лицо на портрете, затаившемся под пурпурным саваном, становится тупым, жестоким, порочным. Это уже не суть важно. Ведь этого никто не увидит. Да и сам он не будет заходить сюда слишком часто. К чему себя мучить, наблюдая за разложением собственной души? Он навсегда сохранит свою молодость — а это самое главное.

Впрочем, разве он не может стать лучше? Разве постыдное будущее так уж для него неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и сделает его чище, убережет от новых грехов, зреющих в его душе и теле, — тех неведомых, еще никем не описанных прегрешений, таинственная природа которых придает им коварное очарование. Быть может, настанет день, когда эти алые чувственные губы утратят жестокое выражение и можно будет наконец показать миру шедевр Бэзила Холлуорда?

Нет, это совершенно невозможно. Ведь с каждым часом, с каждой неделей его двойник на полотне будет становиться старше. Даже в том случае, если на нем не будут отражаться тайные преступления и пороки, беспощадных следов времени ему все равно не избежать. Щеки его станут дряблыми или ввалятся. Желтые «гусиные лапки» лягут вокруг потускневших глаз и погубят их красоту. Волосы утратят свой блеск; рот, как у всех стариков, будет бессмысленно полуоткрытым; губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет точь-в-точь как у его покойного деда, который был к нему так суров. Да, мир никогда не увидит этого портрета — сомнений у Дориана теперь не оставалось.

— Несите сюда, мистер Хаббард, — сказал Дориан безжизненным голосом. — Извините, что задержал вас. Я задумался о своем и забыл, что вы ждете.

— Ничего, мистер Грей, я только рад возможности передохнуть, — отозвался все еще не отдышавшийся багетчик. — Куда прикажете поставить, сэ?

— Куда угодно, это уже не имеет значения. Ну, хотя бы сюда. Подвешивать не надо. Просто прислоните к стене. Да, так, пожалуй, сойдет хорошо, спасибо.

— А нельзя ли взглянуть на это творение искусства, сэ?

Дориан даже вздрогнул.

— Не думаю, что оно могло бы вам понравиться, мистер Хаббард, — сказал он, глядя в упор на багетчика. Он готов был броситься на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять этот великолепный саван, скрывающий величайшую тайну его жизни. — Ну хорошо, не стану больше вас утруждать. Благодарю за помощь.

— Не за что, мистер Грей, не за что! Всегда к вашим услугам, сэр!

Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться по лестнице, а за ним — его помощник, то и дело оглядывавшийся на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице: он в жизни не видел таких красивых и обаятельных джентльменов.

Как только внизу затихли шаги, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Никто и никогда не увидит этот страшный портрет. Ему лишь одному суждено лицезреть свой позор.

Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике из темного дерева, богато инкрустированном перламутром (подарок леди Рэдли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и всю прошлую зиму прожившей в Каире), лежала записка от лорда Генри, рядом с ней — книга в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе — последний выпуск «Сент-Джеймс-Газетт». Было очевидно, что Виктор уже вернулся. Интересно, не встретился ли его камердинер с ухажившими рабочими и не узнал ли от них, зачем их сюда приглашали? Виктор, разумеется, обратит внимание, что в библиотеке нет портрета... Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. А что если он однажды ночью застанет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь детской?! Как это ужасно — иметь в доме шпиона! Дориану доводилось слышать о случаях, когда богатых людей всю жизнь шантажируют слуги, которым удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева...

При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая, он надеется, заинтересует Дориана, а в четверть девятого ожидает его в клубе.

Дориан взял газету и стал рассеянно ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Она гласила следующее:

«Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Белл-Таверн на Хокстон-роуд коронером округа, мистером Дэнби, было произведено дознание о смерти молодой актрисы Сибиллы Вейн, выступавшей последнее время в Холборнском Королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие у присутствующих вызвала мать покойной, которая, давая показания, пребывала в сильном волнении. Она не смогла сдержать слез и впоследствии, когда давал показания доктор Биррелл в связи с произведенным им вскрытием Сибиллы Вейн».

Дориан нахмурился и, разорвав газету, выбросил клочья в корзину. Как все это отвратительно! Как ужасны эти подробности! Он злился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. И как это опрометчиво, что он отметил ее карандашом: ведь Виктор мог увидеть ее и прочесть. Этот француз в достаточной степени владеет английским, чтобы понять, о чем идет речь.

А что если камердинер уже прочел это сообщение и начал что-то подозревать?.. Впрочем, какой смысл беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибиллы Вейн? Ему нечего бояться — он ее не убивал.

Взгляд Дориана остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Восьмиугольный, отделанный под перламутр столик, казалось, был результатом работы каких-то диковинных египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. А через несколько минут он уже не мог от нее оторваться.

Странная это была книга, никогда он не читал подобной. Ему казалось, что под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Много, о чем он только грезил, на его глазах облекалось в плоть. Много, чего ему и во сне не снилось, обретало теперь реальность.

Это был роман без сюжета, а вернее — психологический этюд. Его единственный герой, молодой парижанин, был всю жизнь занят тем, что пытался воскресить в XIX веке страсти и умонастроения прошедших

веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей неестественностью те формы отречения, которое люди безрассудно именуют добродетелями, и в такой же мере — те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими жаргонными словечками и архаизмами, специальными терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов. Встречались здесь метафоры, столь же причудливые, как орхидеи, и столь же нежных оттенков. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что ты читаешь — описание ли религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый фимиам курений поднимается от ее страниц и дурманит мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, настраивали на болезненную мечтательность. Проглатывая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру и в углах комнаты залегли тени.

За окном мерцало безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда. Дориан продолжал читать при замирающем свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний камердинера о том, что ему уже пора собираться, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявший у кровати, стал переодеваться к обеду.

Было уже около девяти, когда он приехал в клуб. Лорд Генри пребывал в одиночестве, ожидая его со скучающим видом.

— Ради бога, простите, Гарри! — воскликнул Дориан. — Хотя, в сущности, я опоздал по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошло время.

— Я знал, что она вам понравится, — отозвался лорд Генри, вставая.

— А я не говорил, что она мне нравится. Я сказал: «околдовала». Это далеко не одно и то же.

— Ах, вот как, вы уже уразумели разницу? — проронил лорд Генри, и они направились в столовую.

Глава XI

Дориан Грей не мог освободиться от влияния этой книги еще в течение многих лет. Впрочем, он вовсе и не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа девять экземпляров книги, изданных необычайно роскошно, и заказал для них переплеты разных цветов, — цвета эти должны были гармонировать с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уже почти не мог совладать.

Герой книги, тот самый парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичность и трезвый ум ученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга — историей его жизни, хоть и написанной раньше, чем он родился.

В одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал — и у него никогда не было для этого причин — болезненного страха перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью; страха, который впервые испытал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, где с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом описывались скорбь и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дориан читал с чувством, похожим на злорадство, — впрочем, в радости, как и во всяком другом удовольствии, почти всегда есть нечто жестокое.

Да, Дориан злорадствовал, ибо его чудесная красота, так пленявшая Бэзила Холлуорда и многих других, не увядала и, как он теперь знал, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее (а такие слухи о его весьма подозрительном образе жизни время от времени начинали ходить по Лондону и вызывали толки в клубах), не могли поверить очернявшим его сплетням: ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие о нем дурно, умолкали, когда он входил. Безмятежная ясность его лица опровергала любые о нем кривотолки. Одно уже его присутствие служило доказательством его непричастности к различного рода сомнительным приключениям. И эти люди только удивлялись тому, как этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей.

Часто, вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали

подозрения у его друзей или у тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх, в свою бывшую детскую, и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее и все более стареющее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо в зеркале. Чем разительнее становился контраст между оригиналом и копией, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большей завороченностью наблюдал за разложением своей души. С напряженным вниманием, а порой и с каким-то противоестественным удовольствием разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавал себе вопрос: что страшнее и безобразнее — печать порока или печать возраста? Он приближал свои белые руки к огрубевшим и распухшим рукам на портрете — и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, немощным телом.

Правда, иногда по ночам, когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной каморке подозрительного притона близ доков, куда он часто ходил переодетый и под вымышленным именем, Дориан Грей сокрушался о том, что погубил свою душу, и испытывал страдания, тем более мучительные, что они были абсолютно эгоистичными. Но такие минуты случались все реже и реже. Жажда жизни, впервые пробудившаяся в нем благодаря лорду Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Холлуорда, становилась тем неутолимее, чем настойчивее Дориан старался утолить ее. Чем больше он узнавал о жизни, тем больше хотел узнать что-то новое. Чем больше он поглощал, тем более ненасытным становился.

Однако Дориана не отличали безрассудная смелость или легкомыслие — во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой, дважды в месяц, а в остальное время года каждую среду двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и самые прославленные и модные музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его обеды, в организации которых ему всегда помогал лорд Генри, славились тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшим собой настоящую симфонию экзотических цветов, вышитых скатертей, старинной золотой и серебряной посуды. И многие, особенно среди молодежи, видели в Дориане Грее воплощение того идеала, о котором они мечтали в студенческие годы и в котором сочетались подлинная культурность ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, «гражданина мира». Он казался им одним из тех, кто, как говорил Данте, «стремится облагородить душу поклонением красоте». Одним из тех, для кого, по словам Готье, и «создан этот зримый мир».

Для Дориана жизнь была первым и величайшим из искусств, а все другие искусства — только ее украшением. Конечно, он отдавал дань также моде, которая на короткое время может сделать реальной любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и щегольству, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о Красоте. Его манера одеваться, те течения моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мейфэре и в клубах Пэлл-Мэлла[62]. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения.

Дориан весьма охотно занял то положение в обществе, какое было ему предопределено по достижении совершеннолетия, и его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор «Сатирикона»[63]. Но в глубине души он мечтал о роли более значительной, чем простой *arbiter elegantiarum*[64], у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное обоснование, свои последовательные принципы, и высший смысл жизни видел в одухотворении чувств и ощущений.

Культ чувственной жизни осуждался достаточно часто и вполне справедливо, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их и, как мы знаем, свойственны и низшим существам. Но Дориану Грею казалось, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не осмыслена и они остаются необузданными лишь потому, что люди всегда старались их усмирить, не давая им пищи, или убить страданием, вместо того чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преобладающей чертой должно быть высоко развитое стремление к Красоте.

Оглядываясь на путь человечества через века, Дориан не мог отделаться от чувства глубокого сожаления. Как много упущено, сколько уступок сделано — и ради какой ничтожной цели! Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистязания и самоограничения, в основе которых лежал страх, а результатом было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемое «грехопадение», от которого люди в своем

неведении стремились спастись. Недаром же Природа с великолепной иронией всегда гнала анахоретов в пустыню к диким зверям, давала святым отшельникам в спутники жизни четвероногих обитателей лесов и полей.

Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма — именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, будь они горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувства, так же, как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо и сама жизнь — лишь преходящее мгновение.

Кто из нас не просыпался порой до рассвета после сна без сновидений, столь сладкого, что нам становился почти желанным вечный сон смерти, или после ночи ужасов и извращенной радости, когда в клетках мозга возникают видения страшнее самой действительности, живые и яркие, как всякая фантастика, и исполненные той властной силы, которая делает таким живучим готическое искусство, созданное словно специально для тех, кто болен мечтательностью? Всем памятливы эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробираются сквозь занавески, и кажется, будто занавески колышутся от их прикосновений. Черные причудливые тени бесшумно расползаются по углам комнаты, чтобы притаиться там до времени. А за окном среди листвы уже начинают щебетать птицы, на улице слышны шаги спешащих на работу людей, порой и вздохи, и завывания ветра, который налетает с холмов и долго бродит вокруг еще не проснувшегося дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден прогнать сон из его пурпурных глубин. Одна за другой поднимаются легкие, как вуаль, завесы мрака, все вокруг медленно обретает прежние формы и краски, и на ваших глазах рассвет возвращает окружающему миру его обычный вид. Тусклые зеркала снова начинают жить своей отраженной жизнью. Потушенные свечи стоят там, где их оставили накануне, а рядом — не до конца разрезанная книга, которую вчера читали, или увядший цветок, вчера вечером на балу украшавший вашу петлицу, или письмо, которое вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось. Из призрачных теней ночи снова встает знакомая жизнь, и нам предстоит ее продолжать с того места, на котором она вчера остановилась, так что мы с болью начинаем понимать, что обречены непрерывно тратить попусту силы, вертясь все в том же привычном кругу привычных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, открыв глаза, увидеть новый мир, преобразившийся за ночь, мир, в котором все приняло новые формы и оделось живыми, светлыми красками, мир, полный перемен и новых тайн, мир, где прошлому нет места, а если и есть, то место весьма скромное, и если это прошлое еще живо, то, во всяком случае, не в виде обязательств или сожалений, ибо даже в воспоминании о счастье есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль.

Именно создание таких миров представлялось Дориану Грею главной целью или одной из главных целей жизни; и в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые имели бы в себе основной элемент романтики — необычность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность, отрекался от них с тем равнодушием, которое не только совместимо с пылким темпераментом, но и, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием.

Одно время стали поговаривать, будто Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения, еще более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой, извечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дориан любил преклонять колена на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом парчовом облачении медленно снимает бескровными руками покров с дарохранительницы или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу, похожую на стеклянный фонарь с бледной облаткой внутри, — и тогда ему хотелось верить, что это и в самом деле «panis caelestis», «хлеб ангелов». Любил Дориан и тот момент, когда священник в одеянии Страстей господних преломляет гостию над чашей и бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих. Его пленяли дымящиеся кадила, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно-серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дориан с интересом посматривал на темные исповедальни, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правду о своей жизни.

Однако Дориан понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучение значило бы поставить какой-то предел развитию своего ума, и никогда он не делал такой ошибки; он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простое таинственным и необычайным, и всегда сопутствующей ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон: так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных. Однако все теории, все учения о жизни были для Дориана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвлеченные умозаключения, не связанные с опытом и действительностью. Он знал, что чувственная жизнь человека — точно так же, как и духовная — имеет свои священные тайны, которые ждут того, чтобы их открыли.

Он принялся изучать воздействие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соответствия. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии.

Был в жизни Дориана и такой период, когда он весь отдался музыке, и тогда в его доме, в длинном зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены покрыты оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты: лихие цыгане исторгали страстные мелодии из своих маленьких цитр, величавые тунисцы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные, худощавые индийцы в чалмах сидели, поджав под себя ноги, на красных циновках и, наигрывая на длинных камышовых и медных дудках, зачаровывали (или делали вид, что зачаровывают) больших ядовитых кобр и рогатых гадюк. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дориана в те периоды его жизни, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, которые можно найти только в гробницах или у тех немногих диких племен, которым удалось уцелеть при столкновении с западной цивилизацией. Ему нравилось брать эти инструменты в руки и пытаться играть на них. В его коллекции был таинственный «джурупарис» индейцев Рио-Негро, на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти; были перуанские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц, и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де Овалле[65], и поющая зеленая яшма, находимая близ Куско[66] и звенящая удивительно приятно. Были в коллекции Дориана и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые гремят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет — в него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух; и резко звучащий «туре» амазонских племен, — им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях, и звук этого инструмента слышен за три лье; и «тепонацтли» с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными камедью из млечного сока растений; и колокольчики ацтеков, «иотли», подвешенные гроздьями наподобие винограда; и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса[67], Бернал Диас, так живописавший жалобные звуки этого барабана.

Дориана эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что Искусство, как и Природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий своими формами и голосами.

Однако все это вскоре ему надоело. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал «Тангейзера», и ему казалось, что в увертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души.

Затем у него появилась новая страсть: драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала Анн де Жуайеза, и на его камзоле было нашито пятьсот шестьдесят жемчужин.

Это увлечение длилось у него много лет — можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целыми днями перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризобериллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фиашковые перидоты, густо-розовые и золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венысы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дориана пленяло червонное золото солнечного камня, жемчужная белизна лунного камня, радужные переливы в молочном опале. Однажды ему привезли из Амстердама три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков.

Дориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонсо «Clericalis Disciplina»[68] упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта, а в романтической истории Александра[69] рассказывается, что владыка Эматии[70] видел в долине Иордана змей «с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками».

В мозгу дракона, как повествует Филострат, находится драгоценный камень, «и если показать чудовищу золотые письма и пурпурную ткань, оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить».

По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса, алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. Сердолик утишает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары. Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и прибывает вместе с луной, а мелодий, избличающий вора, теряет силу только от крови козленка.

Леонард Камилл видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. А безоар, который находят в сердце аравийского оленя, — чудодейственный амулет против чумы. В гнездах некоторых аравийских птиц попадает камень аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит.

В день своего коронавания король цейлонский должен был проезжать по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна «были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны — для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец». На шпиле красовались «два золотых яблока, а в них два карбункула — для того, чтобы днем сияло золото, а ночью — карбункулы». В странном романе Лоджа «Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть «серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов». Марко Поло видел, как жители Чипангу кладут в рот мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Пероза, чудище умертвило похитителя и в течение семи лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманили короля Пероза в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее пятьсот фунтов золота.

А король малабарский показывал одному венецианцу четки из трехсот четырех жемчужин — по числу богов, которым этот король поклонялся.

Когда герцог Валентинуа, сын Александра VI, приехал в гости к французскому королю Людовику XII, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито четыреста двадцать бриллиантов. У Ричарда II был плащ, весь покрытый лалами, — он оценивался в тридцать тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха VIII, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронавания: «На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов». Фаворитки Якова I носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдуард II подарил Пирсу Гейвстону доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих II носил перчатки, до локтя унизанные дорогими камнями, а на его охотничьей рукавице были нашиты двенадцать рубинов и пятьдесят две крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами.

Как красива была когда-то жизнь! Как великолепно в своей радующей глаз пышности! Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением.

Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение, — а Дориан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, — он с прискорбием отметил, как разрушает Время все прекрасное и первозданное.

Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увядали желтые нарциссы, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре, а Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми! Куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады? Где велариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем, это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомой белыми конями в золотой упряжи? Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца Солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для пиров; или погребальный покров короля Хильперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел; или возбудившие негодование епископа Понтийского фантастические одеяния — на них изображены были «львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, — словом, все, что художник может увидеть в природе»; или ту одежду принца Карла Орлеанского, на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами: «Madame, je suis tout joyeux»[71], и музыка к ним, причем нотные линейки были вышиты золотом, а каждый нотный знак (четырёхугольный, как принято было тогда) — четырьмя жемчужинами.

Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты «тысяча триста двадцать один попугай и пятьсот шестьдесят одна бабочка, на крыльях у птиц красовался герб королевы, и все из чистого золота».

Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полог был из узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояло это ложе в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика XIV были вышиты золотом кариатиды высотой в пятнадцать футов. Парадное ложе польского короля, Яна Собесского, стояло под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки дивной работы, серебряные, позолоченные, были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета.

В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скарабеев; газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке несколько названий — «ткань из воздуха», «водяная струя», «вечерняя роса»; причудливо разрисованные ткани с Явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы; книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями (цветок французских королей), птицами и всякими другими рисунками; вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат; грузинские изделия с золотыми цехинами и японские «фукусас» золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски.

Особое пристрастие имел Дориан к церковным облачениям, как и ко всему, что связано с религиозными обрядами. В больших кедровых сундуках, стоявших на западной галерее его дома, он хранил множество редчайших и прекраснейших одежд, достойных быть одеждой невест Христовых, ибо невеста Христова должна носить пурпур, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями, израненное самобичеваниями. Дориан был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором — золотыми плодами граната, венками из шестилепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом ананасами. Орари — расшитые золотым шитьем куски ткани — были разделены на квадраты, и на каждом из них изображены сцены из жизни Пресвятой девы, а ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа XV века.

Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками, и белые цветы на длинных стеблях были вышиты серебряными нитями и цветным бисером; на застежке золотом вышита голова серафима, а орарь заткан ромбовидным узором, красным и золотым, и усеян медальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна.

Были у Дориана и другие облачения священников — из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтой камки и глазета, на которых были изображены Страсти Господни и распятие, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы; были далматики из белого атласа и розового штофа с узорами из тюльпанов, дельфинов и французских лилий, были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминов и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых

употреблялись эти предметы, волновали воображение Дориана.

Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, который порой становился уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам поместил теперь роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни, и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По нескольку недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращались прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью, тайком ускользнув из дому, отправлялся в какие-нибудь грязные притоны близ Блу-Гейт-Филдз и дневал там и ночевал, пока его оттуда не выпроваживали. А возвратившись домой, садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его, порой себя, а чаще — обоих, или улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который был обречен нести предназначенное ему, Дориану, бремя.

Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться за пределами Англии. Он отказался от виллы в Трувиле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, его постоянно преследовал страх, как бы кто-нибудь не забрался в его отсутствие в комнату, где стоял портрет, — несмотря на все надежные засовы, сделанные по его распоряжению.

Впрочем, Дориан был уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранял с ним явное сходство, ну и что из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он ведь писал портрет, — так при чем же тут он, если изображенный на нем человек стал таким безобразным? Даже если бы он рассказал людям правду, кто бы ему поверил?

И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме в Ноттингемшире принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно, в разгаре веселья, покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь детской, на месте ли портрет. Что, если его уже украли? Сама мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда откроется его тайна. Быть может, люди уже и так кое-что подозревают?

Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном уэст-эндском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что, когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчилл-клуба, герцог Бервикский, а за ним еще один джентльмен встали и демонстративно вышли. Нехорошие слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет двадцать пять. Говорили, что кто-то его видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Уайтчепела, где у него вышла стычка с иностранными матросами, а также что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайны их ремесла. О его странных отлучках из дома знали уже многие, и, когда он снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам и, проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные, испытующие взгляды, словно желая узнать наконец правду о нем.

Дориан, разумеется, не обращал внимания на все эти дерзости и знаки пренебрежения, и для большинства людей его открытость, жизнерадостность и приветливость, его обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной, неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы — так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане.

Однако в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюблявшиеся в него, ради него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату.

Впрочем, темные слухи о Дориане придавали ему в глазах многих еще больше очарования, необъяснимого и притягательного. Его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество — по крайней мере, цивилизованное общество — не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетелей, и самого почтенного человека уважает гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И, в сущности, это правильно: когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого подают

недостаточно горячие кушанья. И в защиту такого мнения можно сказать многое. Ибо в хорошем обществе царят — или должны бы царить — те же законы, что в искусстве: форма здесь играет главную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии, она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство — такой уж великий грех? Едва ли. Оно лишь придает многообразие человеческой личности.

Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное по своей сути. Дориан видел в человеке существо с мириадами жизней и мириадами ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено многовековое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков.

Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих «Мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Якова» рассказывает, что «он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала». Дориан спрашивал себя: не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта? Быть может, какой-то отравляющий микроб переходил от одного представителя их рода к другому, пока не попал в его собственное тело? Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти беспричинно высказать в студии Бэзила Холлуорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь?

А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, именно от него, от этого любовника Джованны Неаполитанской, перешли к нему все эти постыдные пороки? И не являются ли его поступки затаенными желаниями этого давно умершего человека, при жизни не дерзнувшего их осуществить?

Дальше с выцветавшего полотна улыбалась Дориану леди Елизавета Деверукс в кружевном чепце и расшитом жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он какие-то свойства и ее характера? Ее удлинненные глаза с тяжелыми веками, казалось, смотрели на него с пытливым любопытством.

Ну а что досталось ему от Джорджа Уиллоби, сановника в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, — смуглое, мрачное, со сладострастно-жестоким ртом, в линиях которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь восемнадцатого века в молодости был другом лорда Феррарза.

А второй лорд Бэкинхэм, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фитцгерберт? Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомкам? Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлтон-Хаусе[72]. На груди его сверкает орден Подвязки...

Рядом портрет его жены, бледной женщины в черном, с плотно сжатыми тонкими губами. «Ее кровь тоже течет в моих жилах, — подумал Дориан. — Как все это любопытно!»

А вот и его мать. Женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в вине губами... Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее: свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В ее волосах виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что взглядом они следуют за ним, куда бы он ни шел.

А ведь у человека есть предки не только в роду: они у него есть и в литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, чем его предки, и влияние их сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той действительной, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, а зло — столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его

жизнью.

Герой увлекательной книги, которая оказала на Дориана столь большое влияние, тоже был одержим подобной фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в обличье Тиберия, увенчанный лаврами, защищающими от молний, частенько сидел в саду на Капри и читал бесстыдные книги Элефантиды[73], а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадилщика фимиама. Он был и Калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей из слоновой кости вместе со своей лошадей, украшенной налобной повязкой с бриллиантами. Он был Домицианом и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражения кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской — страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался в свой Золотой дворец по Гранатовой аллее, провожаемый криками толпы, проклинавшей его, цезаря Нерона. Он был и Гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, дабы сочетать ее мистическим браком с Солнцем.

Вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующие, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого Пресыщенность, Порок и Кровожадность превратили в чудовищ или безумцев: Филиппо, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал; венецианец Пьетро Барби, известный под именем папы Павла II и в своем тщеславии добившийся, чтобы его величали «Формозус», то есть «Прекрасный» — его тиара, стоившая двести тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления; Джан Мария Висконти, травивший людей собаками — когда он был убит, труп его усыпала розами любившая его гетера; Чезаре Борджиа[74] на белом коне — с ним рядом скакало Братоубийство, и на плаще его была кровь Перотто; молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста IV, Пьетро Риарио, чья красота равнялась только его развращенности, — он принимал Элеонору Арагонскую в шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на пиру изображать Ганимеда или Гиласа; Эзелино, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти, — он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину, и, по преданию, был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу; Джамбаттиста Чибо, словно в насмешку именовавший себя Невинным, тот Чибо, в чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей; Сиджизмондо Малатеста, любовник Изотты и сюзеренный властитель Римини, задушивший салфеткой Поликсену, поднесший Джиневре д'Эсте яд в изумрудном кубке и в память об одной из своих постыдных страстей воздвигший языческий храм для христианских богослужений — изображение этого врага Бога и людей сожгли в Риме; Карл VI, который так страстно любил жену своего брата, что один прокаженный предсказал, что его ждет безумие — когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями Любви, Смерти и Безумия; и, наконец, Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усеянной алмазами шляпе на подобных акантам кудрях, убийца Асторре и его невесты, а также Симонетто и его пажа — столь прекрасный, что, когда он умирал на желтой пьядце Перуджи, даже те, кто ненавидел его, не могли удержаться от слез, а проклявшая его Аталанта благословила его.

Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления: с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков или янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.

Глава XII

Это случилось девятого ноября, накануне дня рождения Дориана — ему исполнилось тридцать восемь лет — и день этот ему суждено было запомнить на всю жизнь.

Около одиннадцати часов вечера он, пообедав у лорда Генри, возвращался домой. Шел он пешком, плотно закутавшись в шубу, потому что ночь была холодная и туманная. На углу Гроувенор-сквер и

Саут-Одли-стрит мимо него быстро прошел какой-то человек с саквояжем в руке, и хотя воротник его серого пальто был поднят, Дориан узнал Бэзила Холлуорда. По непонятной причине Дориана вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он не подал вида, что узнал Бэзила, и торопливо зашагал дальше.

Зато Холлуорд успел его заметить. Дориан слышал, как тот остановился, а затем стал его догонять. Через минуту рука Бэзила легла на его плечо.

— Дориан! Какая удача! Я ведь ожидал вас в библиотеке с девяти часов. Потом наконец сжалился над вашим камердинером и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. А ждал я вас потому, что сегодня двенадцатичасовым поездом уезжаю в Париж и хотел бы перед отъездом с вами поговорить. Когда вы проходили мимо, я вас узнал, а вернее, узнал вашу шубу, но все же засомневался... А вы разве не узнали меня?

— В таком-то тумане, дорогой Бэзил? Я даже Гроувенор-сквер не узнаю. Думаю, что дом мой где-то совсем близко, но и в этом я не уверен... Очень жаль, что вы уезжаете; я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь?

— Нет, я пробуду за границей где-то с полгода. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Но я хотел поговорить с вами не о своих делах... Кстати, вот ваш подъезд. Вы мне позволите зайти к вам на минуту? Мне нужно сказать вам кое-что очень важное.

— Прошу вас Бэзил, мне будет очень приятно. Но вы не боитесь опоздать на свой поезд? — спросил безразличным голосом Дориан и, поднявшись по ступенькам, открыл ключом дверь.

Холлуорд взглянул на часы при слабом свете окутанного туманом фонаря и сказал:

— У меня еще уйма времени. Поезд отходит в четверть первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь, собственно, направлялся в клуб — рассчитывал встретить вас там. С багажом возиться мне не придется — я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж, и мне хватит двадцати минут, чтобы добраться до вокзала Виктории.

Дориан взглянул на Бэзила и улыбнулся.

— Вот, значит, как путешествует известный художник! Ручной саквояж и легкое осеннее пальто! Входите же скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наши дни не принято говорить о серьезном — во всяком случае, в приличном обществе.

Холлуорд только покачал головой и прошел вслед за Дорианом в библиотеку. В большом камине ярко пылал огонь, были зажжены лампы, а на столике маркетри стояли открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы.

— Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Принес мне все, что нужно для полного счастья, в том числе и ваши лучшие папиросы с золотыми мундштуками. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш камердинер. Кстати, куда он делся?

Дориан пожал плечами:

— Кажется, женился на горничной леди Рэдли и увез ее в Париж, где она подвизается в качестве модной английской портнихи. Там теперь, говорят, англomania в большом почете. Довольно глупая мода, не правда ли?.. А Виктор, между прочим, был хороший слуга, я на него не мог пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень переживал, когда я его уволил. Но я почему-то его невзлюбил... Знаете, иногда воображаешь себе невесту что... Еще стакан бренди с содовой? Или предпочтете рейнвейн с сельтерской? Я всегда пью рейнвейн с сельтерской. Наверное, в соседней комнате найдется бутылочка.

— Спасибо, я ничего больше пить не буду, — отозвался художник. Он снял пальто и шляпу и бросил их на саквояж, который ранее поставил в углу. — Так вот, мой дорогой Дориан, нам нужно серьезно поговорить. Не хмурьтесь, пожалуйста, мне и так нелегко начинать.

— Ну так в чем же все-таки дело? — нетерпеливо воскликнул Дориан, садясь на диван. — Надеюсь, не во мне? Я сегодня устал от себя и предпочел бы быть кем-нибудь другим.

— Нет, именно в вас, — твердо произнес Холлуорд. — И это очень важно. Я отниму у вас каких-нибудь полчаса, не больше.

— Целых полчаса! — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу.

— Не так уж это и много, Дориан, а, кроме того, разговор в ваших же интересах. Так вот, мне кажется, вам нужно знать, что о вас в Лондоне говорят ужасные вещи.

— А я не хочу об этом знать. Я люблю слушать сплетни о других, сплетни же обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны.

— Они должны вас заинтересовать, Дориан. Каждый порядочный человек дорожит своей репутацией. Ведь

вы же не хотите, чтобы люди считали вас человеком развратным и бесчестным? Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее. Но богатство и высокое положение — это еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда вас вижу. Ведь порок всегда накладывает свою печать на лицо человека, его невозможно скрыть. У нас принято говорить о «тайных» пороках. Но тайных пороков не бывает. Они видны в линиях губ, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, — вы его знаете, но называть его имени я не буду, — пришел ко мне, чтобы заказать свой портрет. Я его никогда раньше не видел, и в то время мне ничего о нем известно не было — слышался я о нем только позднее. Он мне предложил за портрет бешеную цену, но я отказался писать его: в форме его пальцев было что-то глубоко мне неприятное. И теперь я знаю, что чутье меня не обманывало, — у этого джентльмена ужасная биография. Но вы, Дориан... Ваше честное, открытое, светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость — это лучшее свидетельство того, что дурная молва о вас — клевета. Я всем этим слухам не верю. Однако я теперь вижу вас совсем редко, вы никогда больше не заглядываете ко мне в студию, а потому я теряюсь, когда слышу все те мерзости, какие о вас говорят, и не знаю, что на них отвечать. Так вот, прошу вас, объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикский, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в ней появляетесь? Почему столь многие из нашего круга отказываются бывать у вас в доме и не принимают вас у себя? Вы были дружны с лордом Стейвли. На прошлой неделе я встретил его на одном званом обеде... Когда за столом кто-то упомянул ваше имя — речь шла о миниатюрах, которые вы одолжили для выставки в Дадли[75], — лорд Стейвли с презрением заявил, что, может быть, вы и тонкий знаток искусства, но с таким человеком, как вы, опасно знакомить юных, неопытных девушек, а порядочной женщине неприлично даже находиться с вами в одной комнате. Я напомнил ему, что вы — мой друг, и потребовал объяснений. И он мне их дал. Да еще и при всех! Какой это был ужас! Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот молоденький офицер, что недавно покончил с собой, — ведь он был вашим близким другом. С сэром Генри Эштоном вы были неразлучны, — а он вынужден был покинуть Англию с запятнанным именем... Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда Кента — почему он сбился с пути? Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Боже, как он убит горем. А молодой герцог Пертский? Что за образ жизни он ведет! Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться?

— Довольно, Бэзил! Не говорите о том, чего не знаете! — перебил его Дориан Грей, кусая губы и говоря с глубочайшим презрением. — Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я туда вхожу? Да потому, что мне о нем все известно, а вовсе не потому, что ему хоть что-то известно обо мне. Как может быть чистой жизнь человека, в жилах которого течет такая нечистая кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Пертского. Разве я привил Эштону его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке, то при чем же тут я? Адриан Синглтон подделал подпись своего знакомого на векселе — это тоже моя вина? Что я, обязан смотреть за каждым его шагом? А все это потому, что у нас, в Англии, слишком уж любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью и, объедаясь за обеденным столом, шушукаются о так называемой «распущенности» аристократов, стараясь показать этим, что и они возвращаются в высшем обществе и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране стоит человеку выдвинуться — благодаря уму или любым другим качествам, — как о нем тотчас начинают болтать всякую гадость. А ведь те, кто щеголяет своей мнимой добродетелью, — они-то сами как ведут себя? Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров.

— Ах, Дориан, не в этом дело! — с досадой проговорил Холлуорд. — Знаю я, что в Англии у нас не все благополучно и что общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу, чтобы вы были на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили их безумной жадной наслаждений. И они скатились на дно. Туда их столкнули именно вы! И вы после этого улыбаетесь как ни в чем не бывало, — вот как сейчас... Мне известно кое-что и похуже. Вы ведь с Гарри — неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому вам не следовало бы позорить имя его сестры, делать ее предметом насмешек и сплетен.

— Довольно, Бэзил! Вы слишком много себе позволяете!

— Я должен сказать все, — и вы меня выслушаете. Да-да, Дориан, выслушаете! До вашего знакомства с леди Гвендолен никто не смел о ней сказать худого слова, даже тень сплетни не касалась ее. А теперь?.. Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться вместе с нею в Гайд-парке? Даже ее детям не разрешают жить с ней в одном доме... И это еще далеко не все. Много чего о вас рассказывают, — например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из каких-то грязных притонов, как, переодевшись в простую одежду, тайком пробираетесь в самые омерзительные трущобы Лондона. Неужели это правда?

Неужели подобное возможно? Когда мне рассказали об этом в первый раз, я попросту рассмеялся — настолько мне показалось это диким. Но теперь я слышу такие истории постоянно — и они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме? Дориан, если бы вы знали, какие мерзости о вас говорят! Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника — что ж, пусть будет так! Помнится, Гарри как-то сказал, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что делает он это в первый и последний раз, а потом постоянно нарушает свое обещание. Ну так вот, я давать такого обещания не буду. Напротив, я и в дальнейшем намерен читать вам проповеди. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была незапятнанная, более того — хорошая репутация. Чтобы вы перестали водиться с подонками. Нечего пожимать плечами и делать вид, что вас это не касается! Вы оказываете удивительное влияние на людей, так пусть же оно никогда не будет им во вред, а только на пользу. Про вас говорят, что вы развращаете всех, кого к себе приближаете, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор и несчастье. Не знаю, так ли это на самом деле, — откуда мне знать? — но слышу я это от многих. И кое-чему из того, что слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер — мой старый университетский товарищ, мы были с ним очень дружны в Оксфорде. Он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь — ничего подобного я не слышал. И она обвиняет вас. Я сказал Глостеру, что этого не может быть, что я вас хорошо знаю и вы не способны на подобные гнусности. Так вот, действительно ли я вас знаю? Я уже не раз задавал себе этот вопрос. Но чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу...

— Увидеть мою душу? — слабым голосом произнес Дориан Грей, бледнея от страха.

— Да, — сказал Холлуорд и, глубоко вздохнув, с грустью повторил: — Увидеть вашу душу. Но только Господь в состоянии это сделать.

Дориан неожиданно рассмеялся — это был горький, даже циничный смех.

— Вы тоже это в состоянии сделать. Вы можете увидеть ее прямо сейчас — увидеть собственными глазами! — чуть ли не истерически кричал он, а затем, схватив со стола лампу, решительно произнес: — Пойдемте. Ведь это ваших рук дело, так почему бы вам не взглянуть на то, что вы натворили? А после этого можете, если хотите, рассказывать об этом хоть всему миру! Но вам никто не поверит. Да если бы и поверили, еще больше бы восхищались мной. Я знаю наше время лучше, чем вы, хоть вы так много о нем разглагольствуете. Идемте же! Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Сейчас вы увидите его воочию.

Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой, как капризный, избалованный мальчишка. Им овладела злобная радость при мысли, что теперь бремя тайны с ним разделит другой, — тот, кто написал этот портрет и кто повинен в его грехах и позоре.

— Да, — продолжал он, подходя к Холлуорду и глядя прямо ему в глаза. — Я готов показать вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только Господь Бог.

Холлуорд вздрогнул и отшатнулся от него.

— Дориан, не смейте так говорить — это кощунство!

— Вы так думаете? — и Дориан снова рассмеялся.

— Да, я так думаю. Все, что я вам сказал сегодня, я говорил для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг.

— Не трогайте меня! Лучше договаривайте то, что хотели сказать.

Судорога боли исказила лицо художника. Одну минуту он стоял молча, весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва, он и сам, должно быть, ужасно страдает!

Холлуорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поленья. Языки пламени метались среди белого, как иней, пепла.

— Я жду, Бэзил, — сказал Дориан, отчеканивая слова.

Художник повернулся к нему и продолжал:

— Вы должны сказать мне правду. Если вы поклянетесь, что все эти страшные обвинения — клевета, я вам поверю. Вам лишь достаточно это сказать, вот и все, Дориан! Разве вы не видите, как я страдаю? Боже мой! Я не хочу и не могу поверить, что вы настолько распущенный и испорченный человек, как о вас говорят!

Дориан Грей презрительно усмехнулся.

— Пойдемте со мной, Бэзил, — промолвил он спокойно. — Я веду своего рода дневник, в нем записан каждый день моей жизни. И этот дневник всегда остается на том месте, где пишется. Пойдемте со мной, и я вам

его покажу.

— Что ж, пойдете, Дориан, раз вы настаиваете. Я все равно опоздал на поезд. Не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня читать ваш дневник сегодня. Я лишь хочу получить на мой вопрос честный и четкий ответ.

— Вы получите его наверху. Здесь это невозможно. И вам не придется долго читать.

Глава XIII

Дориан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, Бэзил Холлуорд шел за ним следом. Было уже за полночь, и оба ступали осторожно, стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От внезапного порыва ветра где-то в окнах задребезжали стекла.

На верхней площадке лестницы Дориан поставил лампу на пол и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину.

— Вы действительно хотите знать правду, Бэзил? — спросил он, понизив голос.

— Очень.

— Ну что ж, — улыбнулся Дориан и, мгновенно посерьезнев, добавил: — Вы — единственный человек, имеющий право знать мою тайну. Вы даже не подозреваете, Бэзил, какую большую роль вы сыграли в моей жизни.

Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом, и от струи воздуха огонь в лампе вспыхнул густо-оранжевым пламенем. По телу Дориана прошла мелкая дрожь.

— Закройте дверь! — шепотом велел он Холлуорду, ставя лампу на стол.

Холлуорд в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не обитал. Вылинявший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул — вот и все, что он увидел. Пока Дориан зажигал огарок свечи, взяв его с каминной полки, Холлуорд успел заметить, что все в этой комнате было покрыто густым слоем пыли и что ковер на полу дырявый. Было слышно, как за панелью пробежала мышь. В комнате витал сырой запах плесени.

— Значит, вы утверждаете, Бэзил, что одному только Богу дано видеть душу человека? Что ж, снимите покрывало, и вы увидите мою душу.

В голосе его звучали холодные, горькие нотки.

— Вы с ума сошли, Дориан! Или вы разыгрываете меня? — нахмурился Холлуорд.

— Не хотите? Ну так я сам сниму, — с этими словами Дориан сдернул покрывало с картины и бросил его на пол.

Крик ужаса вырвался из уст художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы. Угасшие глаза сохраняли свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии трепетных ноздрей и стройной шеи... Да, это он, Дориан. Но кто написал его таким? Присмотревшись, Бэзил Холлуорд начал узнавать свою работу, да и рама была та же самая, заказанная по его рисунку. Но это же чудовищно, невероятно! Бэзил похолодел от ужаса. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись — выведенные киноварью продолговатые, красные буквы.

Но портрет этот был отвратительной карикатурой на то, что им когда-то было написано, издевательством над его талантом, пасквилем на его творчество! Такого он не мог написать...

И все-таки перед ним стоял тот самый портрет. Холлуорд не мог его не узнать. Он чувствовал, как кровь стынет в его жилах. Если это действительно его картина, то как это могло произойти? Почему она так страшно изменилась?

Когда Холлуорд повернулся к Дориану, у него был совершенно безумный вид. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу — лоб был влажен от липкого пота.

А Дориан стоял, прислонясь к каминной полке, и с напряженным вниманием следил за каждым движением Бэзила, будто присутствовал на захватывающем спектакле, в котором играл какой-нибудь знаменитый актер. Лицо его не выражало ни горя, ни радости — только зачарованный интерес зрителя. Лишь в

глазах его нет-нет да и мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и делал вид, что нюхает его.

— Что все это значит? — воскликнул Холлуорд и сам не узнал своего голоса — так резко и странно он прозвучал.

— Много лет назад, когда я был совсем еще мальчиком, — отвечал Дориан Грей, теребя цветок в пальцах, — вы, увидев меня и сделав своей моделью, начали восхвалять мою красоту, непрерывно льстить мне, и это пробудило во мне тщеславие. Потом вы познакомили меня со своим другом, и тот научил меня ценить этот чудесный дар — дар молодости. Когда вы написали мой портрет, я впервые открыл для себя, какой огромной силой обладает красота. И в какой-то безумный миг — до сих пор не знаю, сожалею ли о нем или нет, — во мне вспыхнуло страстное желание навсегда сохранить свою красоту, и из моей души исторглась мольба... а скорее даже молитва... чтобы желание это было исполнено.

— Как хорошо я помню эти чудесные дни — будто все это было только вчера!.. Но вы же не хотите сказать... Нет, это плод вашей фантазии... Просто портрет стоит в сырой комнате, и в ткань полотна проникла плесень. А может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество... Да, скорей всего, в этом и заключается причина. А вы себе невесть что вообразили! Это попросту невозможно!

— Ах, разве в мире есть что-нибудь невозможное? — пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу.

— Но вы же говорили мне, что уничтожили портрет!

— Я сказал вам неправду. Это он уничтожил меня.

— Не могу поверить, что это моя картина.

— Разве вы больше не узнаете свой идеал? — спросил Дориан с горечью.

— Мой идеал, как вы это называете...

— Нет, это вы меня так называли!

— В этом не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я действительно видел в вас идеал, и такого идеала я больше не встречаю в жизни. А то, что сейчас на картине, — это лицо какого-то сатира.

— Это — лицо моей души.

— Боже, чему я поклонялся! У него глаза дьявола!..

— Ах, Бэзил, в каждом из нас и рай, и в то же время ад! — произнес Дориан с отчаянием.

Холлуорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него.

— Так вот что вы сделали со своей жизнью! Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают те, кто дурно о вас говорит!

Он еще раз поднес к портрету свечу и стал пристально его рассматривать. Поверхность холста на вид была совершенно целой, осталась такой, какой вышла из-под его кисти. Очевидно, порча проникла откуда-то изнутри. Проказа порока разъедала портрет под влиянием какой-то внутренней силы. Это было даже страшнее, чем гниение тела в сырой могиле.

Рука Холлуорда так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и вспыхнула на полу ярким пламенем. Он затушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками.

— Дориан, Дориан, какой урок, какой страшный урок!

Ответа не было, от окна лишь доносились сдавленные рыдания Дориана.

— Молитесь, Дориан, молитесь! Помните, как нас учили молиться в детстве? «Не введи нас во искушение... Отпусти нам грехи наши... Очисти нас от скверны...» Давайте помолимся вместе! Молитва, продиктованная вам тщеславием, была услышана. Так будем же надеяться, что будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас — и жестоко поплатился за это. Вы тоже слишком любили себя. И страшно за это наказаны.

Дориан медленно поднял голову и посмотрел на Холлуорда полными слез глазами.

— Поздно молиться, Бэзил, — с трудом выговорил он.

— Нет, никогда не поздно, Дориан! Станем же на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы... Кажется, в Писании где-то сказано: «Пусть даже грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми как снег».

— Теперь это для меня уже пустые слова.

— Молчите, не смейте так говорить! Вы и так достаточно нагрешили в жизни. Разве вы не видите эту гнусную, похотливую, злобную ухмылку на лице вашего двойника?

Дориан взглянул на портрет, и вдруг в нем поднялась волна бешеной злобы на Бэзила Холлуорда, словно внушенная тем Дорианом, который смотрел на него с портрета, нащептанная его усмевающимися губами. В нем

проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, такой жгучей ненавистью, которой до сих пор никогда не испытывал.

Он обвел блуждающим взглядом комнату. На крышке стоявшего за столом сундука что-то поблескивало, и он вспомнил, что несколько дней назад принес сюда нож, чтобы перерезать какую-то веревку, и, очевидно, оставил его на сундуке.

Обойдя стол, Дориан медленно приблизился к сундуку и, когда оказался за спиной Холлуорда, схватил нож и резко к нему повернулся. Холлуорд сделал движение, словно собираясь встать, но Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в вену за ухом и, прижав голову художника к столу, стал наносить удар за ударом.

Раздался глухой стон и предсмертный хрип человека, захлебывающегося кровью. Трижды взметнулись в судороге вытянутые вперед руки, двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан нанес ему еще несколько ударов... Холлуорд больше не шевелился. На пол капала кровь. Дориан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу, затем выпустил из руки нож и прислушался.

Полная тишина, нарушаемая лишь легким звуком капель, падающих на протертый ковер. Дориан открыл дверь и крадучись вышел на площадку. Нигде ни звука, все давно легли спать. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила, и смотрел вниз, пытаясь что-то различить в черном колодце мрака. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри.

Холлуорд сидел в той же позе, голова его покоилась на столе, его неестественно вывернутые руки казались необыкновенно длинными. Если бы не рваная рана на затылке и медленно растекавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто спит.

Как быстро все это произошло! Дориан чувствовал себя странно спокойным. Он открыл окно и вышел на балкон. Ветер к этому времени разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу, на улице, Дориан увидел полисмена, который обходил участок, направляя вытянутый луч своего фонаря на двери затихших домов. На углу мелькнуло и скрылось красное пятно проезжавшего кэба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядываясь, а затем вдруг запела хриплым голосом, и тогда полисмен подошел к ней и что-то сказал. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше.

Налетел резкий порыв ветра, газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а безлистные деревья стали раскачивать черными, словно чугунными, сучьями. Дрожа от холода, Дориан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно.

Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее. На убитого художника он даже не взглянул, инстинктивно понимая, что главное теперь — не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, послуживший причиной всех его несчастий, навсегда ушел из его жизни. Вот, собственно, и все.

Выходя, Дориан вспомнил о лампе. Это была довольно редкая вещь мавританской работы, из темного серебра, инкрустированная арабесками на вороненой стали и усеянная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки может быть замечено лакеем и вызвать лишние вопросы... Дориан на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на тело убитого. Как он неподвижен! Как страшна мертвенная белизна его длинных рук! Он напоминал жуткую восковую фигуру из паноптикума.

Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, сошел по лестнице вниз. По временам деревянные ступеньки под его ногами поскрипывали, словно стонали от боли. Тогда он замирал на месте и выжидал... Нет, в доме по-прежнему все было спокойно, ничего, кроме звука его шагов.

Когда он вошел в библиотеку, ему бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь спрятать. Он открыл потайной шкаф в стене, где лежала одежда, в которую он облачался для своих ночных походов, и спрятал туда вещи Бэзила; при первом же удобном случае он их просто сожжет. Затем он посмотрел на часы. Было без двадцати два.

Он сел и принялся размышлять. За преступления, подобные тому, которое он только что совершил, в Англии каждый год, чуть ли не каждый месяц вешают сотни людей... Этой ночью воздух был заражен бактериями убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда пронеслась мимо Земли...

Но какие против него улики? Бэзил Холлуорд покинул дом Дориана в одиннадцать часов, и ни одна живая душа не видела, как он вернулся: почти вся прислуга сейчас в Селби, а камердинер уже спал. Все будут считать, что Бэзил уехал в Париж двенадцатичасовым поездом, как и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни, был необыкновенно скрытен, так что пройдет немало месяцев, прежде чем его хватятся и возникнут какие-либо подозрения. А следы можно будет замести задолго до этого.

Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к неспешным шагам полисмена на улице и следя за отблесками его фонаря в окне. Затаив дыхание, он ждал, пока тот уйдет.

Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. А затем начал звонить в дверь.

Через пять минут появился заспанный, полуодетый камердинер.

— Извините, Фрэнсис, что разбудил вас, — сказал Дориан, входя в прихожую, — я забыл дома ключ. Который час?

— Десять минут третьего, сэр, — ответил слуга, сонно щурясь на часы.

— Третьего? Неужели так поздно?! Завтра разбудите меня в девять, у меня с утра неотложное дело.

— Да, сэр.

— Кто-нибудь ко мне приходил?

— Мистер Холлуорд. Ждал вас до одиннадцати, потом ушел. Он спешил на поезд.

— Вот как? Жаль, что он меня не застал! Ничего не просил передать?

— Ничего, сэр. Сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит сегодня в клубе.

— Хорошо, Фрэнсис. Так не забудьте же разбудить меня в девять.

— Будет исполнено, сэр.

И слуга, шлепая ночными туфлями, удалился по коридору в свою комнату. Дориан бросил пальто и шляпу на столик и отправился в библиотеку. Минут пятнадцать он шагал из угла в угол и, кусая губы, о чем-то размышлял. Потом снял с полки Синюю книгу и стал ее перелистывать. Ага, нашел! «Алан Кемпбелл — Мейфэр, Хартфорд-стрит, 52». Да, вот кто ему сейчас нужен!

Глава XIV

На другое утро, ровно в девять часов, камердинер вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. Дориан спал безмятежным сном, лежа на правом боку и подложив под щеку ладонь. Спал, как утомившийся от шумных игр ребенок.

Чтобы разбудить его, слуге пришлось дважды тронуть его за плечо. Наконец Дориан открыл глаза и улыбнулся какой-то затуманенной улыбкой, словно еще не совсем очнувшись от приятного сна. Но ему этой ночью ничего не снилось. Его сон не тревожили никакие видения — ни светлые, ни мрачные. А улыбался он потому, что молодость жизнерадостна без причин, и в этом ее главное очарование.

Дориан перевернулся на спину, привстал и, опершись на локоть, стал маленькими глотками пить шоколад. В окна заглядывало ласковое солнце. Небо было безоблачным, а воздух теплым, почти как в мае.

Но постепенно в памяти Дориана начали восстанавливаться одно за другим кровавые события прошлой ночи. Он с дрожью вспоминал все, что пережил накануне, и в нем вновь взметнулась та безотчетная ненависть к Бэзилу Холлуорду, которая заставила его схватиться за нож. Он даже похолодел от бешенства.

А ведь художник все еще там, наверху, и теперь, при ярком солнечном свете, он, должно быть, выглядит просто ужасно! Такое зрелище еще можно вынести под покровом ночи, но сейчас...

Дориан чувствовал, что заболит или сойдет с ума, если будет думать об этом. Есть грехи, которые сладостнее вспоминать, чем совершать, — своего рода победы, утоляющие не столько страсть, сколько гордость, и тешащие скорее душу, чем чувственность. Но этот грех был иного рода, его надо было поскорее изгнать из памяти, усыпить покровом забвения, задушить раньше, чем он задушит совершившего его грешника.

Часы пробили половину десятого. Дориан провел рукой по лбу и поспешно встал с постели. Он оделся даже тщательнее обычного, с особой придирчивостью выбрал галстук и булавку к нему, несколько раз поменял перстни на пальцах. Завтракал он не спеша, в полной мере отдавая должное разнообразным блюдам и беседуя с камердинером относительно новых ливрей, которые намеревался заказать для прислуги в Селби. Затем просмотрел утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой, три вызвали его раздражение, а одно он перечитал несколько раз, и все это время с его лица не сходила недовольная мина, потом разорвал его. «Убийственная вещь, эта женская память!» — вспомнились ему слова лорда Генри.

Выпив черного кофе, он вытер губы салфеткой и жестом остановил выходящего из комнаты камердинера, затем сел за письменный стол и написал два письма. Одно положил в карман, другое отдал

камердинеру.

— Фрэнсис, отнесите это на Хартфорд-стрит, дом сто пятьдесят два. А если мистера Кемпбелла нет сейчас в Лондоне, узнайте, куда он уехал и точный адрес.

Оставшись один, Дориан закурил папиросу и принялся рисовать на листе бумаги цветы и затейливые архитектурные украшения, затем человеческие лица. Вдруг он заметил, что все лица, которые он рисовал, были поразительно похожи на Бэзила Холлуорда. Он нахмурился, бросил карандаш и, подойдя к книжному полкам, взял в руки первый попавшийся том. Он твердо решил не думать о случившемся, пока в этом не будет крайней необходимости.

Дориан прилег на кушетку и раскрыл книгу. Это был поэтический сборник Готье «Эмали и камеи» в роскошном издании Шарпантье, на японской бумаге и с гравюрами Жакмара. На переплете из лимонно-желтой кожи был вытиснен изысканный узор — золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Книгу эту подарил ему Адриан Синглтон. Перелистывая ее, Дориан остановил взгляд на стихотворении о руке Ласенера, «холодной желтой руке, с которой еще не смыт след преступления, руке с рыжим пушком и пальцами фавна». Дориан невольно вздрогнул и взглянул на свои тонкие белые пальцы, затем вновь возвратился к книге и перелистывал ее, пока не дошел до прелестных строф о Венеции:

В волнение легкого размера
Лагун я вижу зеркала,
Где Адриатики Венера
Смеется, розово-бела.

Соборы среди морских безлюдий
В течение музыкальных фраз
Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.

Челнок пристал с колонной рядом,
Закинув за нее канат.
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд[76].

Какие чудные стихи! Читаешь их, и кажется, будто плывешь по зеленым водам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и развевающимися на ветру занавесками. Даже ряды строк в этой изумительной книге напоминали Дориану те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, когда плывешь по Лидо. Неожиданные вспышки красок в стихах поэта порождали образы птиц с опалово-радужными шеями, плавно скользящих в воздухе вокруг высокой, золотистой, как мед, кампанилы или с величавой грацией прогуливающихся под пыльными сводами сумрачных аркад... Откинув голову на подушки и полузакрыв глаза, Дориан твердил про себя:

Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.

Вся Венеция была в этих двух строчках. Ему вспомнилась осень, проведенная в этом городе, и пламенная любовь, толкавшая его на разного рода безумства. Романтика. Но Венеция, как и Оксфорд, является для нее идеальным фоном, а для подлинной романтики фон — это все или почти все...

В Венеции тогда некоторое время жил и Бэзил. Он был без ума от Тинторетто. Бедный Бэзил! Какая ужасная смерть!

Дориан вздохнул и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать Готье. Он читал о маленьком кафе в Смирне, где в окна то и дело влетают ласточки, где сидят хаджи, перебирая янтарные четки, где купцы в чалмах курят длинные трубки с кисточками и ведут между собой степенную и важную беседу. Читал об Обелиске на площади Согласия в Париже, который в своем одиноком изгнании льет гранитные слезы, тоскуя по солнцу и знойному, покрытому лотосами Нилу, стремясь туда, в страну сфинксов, где живут розовые ибисы и белые грифы с позолоченными коготками, где крокодилы с маленькими берилловыми глазками барахтаются в зеленом дымящемся иле... Дориан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из покрытого поцелуями мрамора, поют о необыкновенной статуе, которую Готье сравнивал с голосом контральто и называл дивным чудовищем — «monstre charmant», об этом странном изваянии, притаившемся в порфирином зале Лувра.

Но вскоре книга выпала из рук Дориана. Им овладело беспокойство, а затем на него надвинулся страх. Что если Алан Кемпбелл уехал из Англии? До его возвращения может пройти много дней. Или вдруг Алан не захочет прийти к нему домой? Что тогда делать? Ведь дорога каждая минута!

Пять лет назад они с Аланом были очень дружны, почти неразлучны. Потом дружба их внезапно оборвалась. И когда они встречались в свете, улыбался только Дориан Грей, Алан Кемпбелл — никогда.

Кемпбелл слыл высокоодаренным молодым человеком, но ничего не смыслил в изобразительном искусстве, и если он немного научился понимать красоты поэзии, то этим был целиком обязан Дориану. Единственной страстью Алана была наука. В Кембридже он подолгу просиживал в лабораториях и с отличием окончил курс естественных наук. Он и теперь увлекался химией, у него была собственная лаборатория, где он просиживал целые дни, к великому неудовольствию матери, которая жаждала для сына карьеры парламентария, а о химии имела представление весьма отдаленное и полагала, что химик — это что-то вроде аптекаря.

Впрочем, химия не мешала Алану быть превосходным музыкантом. Для непрофессионала он играл на скрипке и на рояле просто великолепно. Музыка и сблизила его с Дорианом Греем — музыка и то неизъяснимое обаяние, которое Дориан умел пускать в ход, причем зачастую бессознательно. Они встретились впервые у леди Беркшир, когда у нее на званом вечере играл Рубинштейн[77], и потом постоянно ездили вместе в оперу и старались бывать везде, где можно было услышать хорошую музыку.

Полтора года длилась эта дружба. Кемпбелла всегда можно было увидеть то в Селби, то в доме на Гроуенор-сквер. Он, как и многие другие, видел в Дориане Грее воплощение всего прекрасного в жизни. О какой-либо размолвке или ссоре между Дорианом и Аланом не слышал никто, но многие стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом и Кемпбелл всегда уезжает раньше времени с вечеров, на которых появляется Дориан Грей. Потом Алана словно подменили, он стал подвержен необъяснимой меланхолии и, казалось, разлюбил музыку: на концерты он больше не ходил и сам никогда не соглашался играть, объясняя это тем, что научная работа не оставляет ему времени для занятий музыкой. Этому легко было поверить: Алан с каждым днем все больше увлекался биологией, и его фамилия уж несколько раз упоминалась в научных журналах в связи с его интересными опытами.

Этого-то человека и ожидал сейчас Дориан Грей, каждую секунду поглядывая на часы. Время шло, и он все сильнее волновался. Наконец встал и начал ходить по комнате, напоминая красивое, грациозное животное, мечущееся в клетке. Он ходил взад и вперед по комнате большими, бесшумными шагами. Руки его были холодными как лед.

Ожидание становилось невыносимым. Время не шло, а ползло, как будто у него были свинцовые ноги, а Дориан чувствовал себя, как человек, которого бешеный вихрь мчит на край черной бездны. Он знал, что его там ждет, он это ясно видел и, содрогаясь, прижимал холодные, влажные руки к пылающим векам, словно хотел вдавить глаза в череп и лишиться зрения даже свой мозг. Но тщетно. Мозг работал с особенной интенсивностью, фантазия, искаженная страхом, корчилась и металась, как живое существо от мучительной боли, плясала подобно уродливой марионетке на подмостках, скалила зубы из-под причудливо меняющейся маски.

И вдруг время остановилось. Да, это слепое, медлительное существо перестало даже ползти. И стоило ему замереть, как чудовищные образы в голове Дориана стремительно ринулись вперед, извлекли его жуткое будущее из могилы и подтащили к нему. И он смотрел, смотрел во все глаза, окаменев от ужаса.

Наконец дверь отворилась, и вошел камердинер. Дориан смотрел на него мутным, почти невидящим взглядом.

— Мистер Кемпбелл, сэр, — доложил камердинер.

Вздых облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и кровь снова прилила к лицу.

— Просите сейчас же, Фрэнсис!

Дориан уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал.

Камердинер с поклоном вышел. Через минуту появился Алан Кемпбелл, суровый и бледный. Бледность лица еще резче подчеркивали его черные как смоль волосы и темные брови.

— Алан, спасибо, что пришли. Вы не представляете, как я вам рад.

— Грей, я дал себе слово никогда больше не переступить порог вашего дома. Но вы написали, что речь идет о жизни или смерти...

Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах, как будто не замечая протянутой руки Дориана.

— Да, Алан, дело идет о жизни или смерти — и не одного человека. Прошу вас, садитесь.

Кемпбелл сел у стола. Дориан — напротив. Глаза их встретились. Во взгляде Дориана можно было прочесть жалость к этому человеку: он понимал, как ужасно то, что он собирается сделать.

После напряженной паузы Дориан подался вперед и очень тихо произнес, стараясь по лицу Кемпбелла угадать, какое впечатление производят его слова:

— Алан, наверху, в запертой комнате, куда, кроме меня, никто не может войти, сидит за столом покойник. Он умер десять часов назад... Прошу вас, сохраняйте спокойствие и не смотрите на меня так! Кто этот человек, отчего и как он умер — это вас не касается. Вам только придется сделать вот что...

— Замолчите, Грей! Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы говорите или нет, — мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните при себе свои отвратительные тайны, они меня больше не касаются.

— Алан, эту тайну вам придется узнать. Мне очень вас жаль, но ничего не поделаешь. Только вы можете меня спасти. Я вынужден посвятить вас в это дело — у меня нет иного выхода, Алан! Вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы должны уничтожить то, что заперто наверху, — так уничтожить, чтобы следа от него не осталось. Ни одна живая душа не видела, как этот человек входил в мой дом. Все уверены, что он сейчас в Париже. Несколько месяцев его отсутствие не будут замечать. А когда его хватятся, здесь не должно быть найдено ни единого его следа. Вы, Алан, и только вы должны превратить его и все, что на нем надето, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру.

— Вы с ума сошли, Дориан!

— Ага, наконец-то вы назвали меня «Дориан»! Я этого только и ждал.

— Повторяю — вы сумасшедший, иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не желаю я вмешиваться в это! Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию?.. Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях!

— Алан, это было самоубийство.

— В таком случае я рад за вас. Но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно?

— Так вы отказываетесь мне помочь?

— Разумеется, отказываюсь. Не хочу иметь с вами ничего общего. Пусть ваше имя будет покрыто позором — мне все равно. Поделом вам! Я даже буду рад этому. Да как вы смеете просить меня, особенно после всего того, что было, впутываться в это ужасное дело? Я считал, что вы лучше знаете людей. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, многому научил вас, но психологии он, видно, вас плохо учил. Я палец о палец не ударю для вас. Ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне!

— Алан, это убийство, и убил его я. Вы не знаете, сколько я выстрадал из-за него. В том, что жизнь моя сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедняга Гарри. Может, он и не хотел этого, но результат именно таков.

— Убийство? Боже мой, так вы уже и до этого дошли, Дориан? Я не донесу на вас — это не мое дело. Но вас все равно в конце концов арестуют. Все без исключения преступники обязательно допускают какую-нибудь оплошность и выдают себя. Я, во всяком случае, не стану в это вмешиваться.

— Вы должны вмешаться. Постойте, постойте, выслушайте меня, выслушайте, Алан. Я вас всего лишь прошу проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах — и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или в зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жостью столе с желобами для стока крови, он для вас был бы просто объектом для опытов. Вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову бы не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете похвальное

стремление к познанию мира, и все такое прочее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И, уж конечно, уничтожить труп гораздо менее отвратительно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах. Поймите, этот труп — единственная улика против меня. Если его обнаружат, я погиб. А его, несомненно, обнаружат, если вы меня не спасете.

— Вы забыли, что я вам сказал? Я не имею ни малейшего желания спасти вас. Вся эта история меня совершенно не касается.

— Алан, умоляю вас! Подумайте, в каком я положении! Вот только что, перед вашим приходом, я был на грани нервного срыва. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх... Нет, нет, я не то хотел сказать!.. Взгляните на это дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы же не спрашиваете, откуда те трупы, которые служат вам для опытов? Так не спрашивайте и сейчас ни о чем. Я и так уже сказал вам больше, чем следовало бы. Я прошу вас сделать это для меня. Мы ведь были друзьями, Алан!

— О прошлом вспоминать не имеет смысла, Дориан. Оно умерло.

— Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не умирает. Тот человек наверху никогда уже никуда не пойдет. Он сидит на стуле, голова его покоится на столе, руки вытянуты вперед... Послушайте, Алан! Если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, Алан! Понимаете? Меня повесят за то, что я сделал...

— Незачем продолжать этот разговор. Я решительно отказываюсь вам помогать. Вы, видно, помешались от страха, иначе не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой.

— Так вы не согласны?

— Нет.

— Алан, я вас умоляю!

— Это бесполезно.

Снова сожаление мелькнуло в глазах Дориана. Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то написал на нем. Дважды перечитал написанное, старательно сложил листок и бросил его через стол Алану. Потом встал и отошел к окну.

Кемпбелл удивленно посмотрел на него и развернул записку. Прочтя, он побледнел как смерть и словно съежился. Он ощутил ужасную слабость, и сердце его билось, словно повисло в пустоте. Казалось, оно вот-вот разорвется.

В комнате повисло тягостное молчание. Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Алану, положил ему на плечо руку.

— Мне вас очень жаль, Алан, — произнес он шепотом, — но другого выхода у меня не было. Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано — вот оно. Видите адрес? Если вы мне не поможете, я отошлю его. А что за этим последует, вы сами понимаете. Теперь вы не сможете отказаться. Я пытался вас пощадить — вы сами должны это признать. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной — а если бы посмел, его бы уже давно не было на свете. Я был терпелив. Теперь мой черед диктовать условия.

Кемпбелл закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит.

— Да, Алан, теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Ну-ну, не впадайте в истерику! Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь — и скорее начинайте!

У Кемпбелла вырвался стон. Его бил озноб. Тиканье часов на камине словно разбивало время на отдельные атомы муки, один невыносимее другого. Голову Алана все туже и туже сжимал железный обруч — как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дориана на его плече была тяжелее свинца, — казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо.

— Ну же, Алан, решайтесь скорее!

— Не могу, — механически проговорил Кемпбелл, точно эти слова могли изменить что-нибудь.

— Вы должны. У вас нет выбора. Не медлите!

Кемпбелл с минуту еще колебался. Потом спросил:

— В той комнате, наверху, есть камин или что-нибудь вроде печки?

— Да, есть газовая горелка на асбесте.

— Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории.

— Нет, Алан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой слуга съездит к вам и все привезет.

Кемпбелл нацарапал несколько строк, промокнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дориан взял у него записку и внимательно прочитал ее. Потом позвонил, отдал письмо явившемуся на звонок камердинеру и велел ему вернуться как можно скорее и привезти все, что указано в списке.

Стук захлопнувшейся за лакеем двери заставил Кемпбелла нервно вздрогнуть. Встав из-за стола, он подошел к камину. Его трясло как в лихорадке. Минут двадцать он и Дориан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи да тиканье часов, отдававшееся в мозгу Алана, как стук молотка.

Пробило час. Кемпбелл обернулся и, взглянув на Дориана, увидел, что глаза того полны слез. Возвышенная чистота и тонкость выражения этого печального лица поражали и бесили Алана.

— Вы подлец, вы гнусный негодяй! — произнес он тихо.

— Не надо, Алан! Вы спасли мне жизнь.

— Вашу жизнь? Силы небесные, что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку и вот дошли до преступления. И уж не ради спасения этой вашей преступной жизни я делаю то, к чему вы меня вынуждаете.

— Ах, Алан, — вздохнул Дориан, — хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам.

Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад.

Кемпбелл ничего не ответил.

Минут через десять раздался стук в дверь, и вошел камердинер, неся большой ящик из красного дерева с химическими препаратами в нем, большие мотки стальной и платиновой проволоки и две железных скобы довольно странной формы.

— Оставить все это здесь, сэр? — спросил он, обращаясь к Кемпбеллу.

— Да, — ответил за Алана Дориан. — Сожалею, Фрэнсис, но мне придется дать вам еще одно поручение. Как зовут того садовода в Ричмонде, что поставляет нам в Селби орхидеи?

— Харден, сэр.

— Точно, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить к нему в Ричмонд и сказать, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказывал, причем белых как можно меньше... нет, пожалуй, белых вовсе не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд — прелестное место, иначе я не стал бы вас утруждать.

— Помилуйте, какой же это труд, сэр! Когда прикажете вернуться?

Дориан посмотрел на Кемпбелла.

— Сколько времени займет ваш опыт, Алан? — спросил он самым естественным и спокойным тоном.

Видимо, присутствие третьего лица придавало ему уверенности.

Кемпбелл нахмурился и прикусил губу.

— Часов пять, — ответил он.

— Значит, можете не возвращаться до половины восьмого, Фрэнсис... А впрочем, знаете что: приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я смогу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю не дома, так что вы мне не потребуетесь.

— Благодарю вас, сэр, — сказал камердинер и вышел.

— Ну, Алан, теперь за дело, нельзя терять ни минуты. Ого, какой тяжелый ящик! Я понесу его, а вы все остальное.

Дориан говорил быстро и повелительным тоном.

Кемпбелл покорился. Они вместе вышли в холл.

На верхней площадке Дориан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту, глаза его тревожно забегали, руки тряслись.

— Алан, я не смогу себя заставить туда войти, — пробормотал он.

— Так не входите. Вы мне там совсем не нужны, — холодно отозвался Кемпбелл.

Дориан приоткрыл дверь, и ему бросилось в глаза освещенное солнцем ухмыляющееся лицо портрета. На полу валялось разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью, впервые за все эти годы, забыл укрыть портрет, и уже хотел было броситься к нему и поскорее его завесить, но в ужасе отпрянул.

На правой руке его двойника выступила отвратительная влага, красная и блестящая, как если бы полотно покрылось кровавым потом. Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол, — ее уродливая тень на залитом кровью ковре свидетельствовала, что она на том же месте, где была вчера.

Дориан глубоко вздохнул и быстро вошел в комнату. Опустив глаза и стараясь не смотреть на покойника, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и набросил его на портрет.

Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор вышитой ткани. Он слышал, как Кемпбелл внес тяжелый ящик, затем все остальные вещи. И Дориан вдруг спросил себя, а был ли Алан знаком с Бэзиллом Холлуордом и, если да, то что они думали друг о друге?

— Теперь уходите, — произнес за его спиной суровый голос.

Он повернулся и поспешно вышел, успев только заметить, что покойник теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула, и Кемпбелл смотрит в его желтое, лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как повернулся ключ в замке.

Было уже почти восемь, когда Кемпбелл вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен.

— Я сделал то, что вы от меня требовали. А теперь прощайте навсегда. Больше я не хочу с вами встречаться.

— Вы спасли мне жизнь, Алан. Этого я никогда не забуду, — сказал Дориан просто.

Как только Кемпбелл ушел, Дориан бросился наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Убитый им художник, сидевший еще пять часов назад у стола, бесследно исчез.

Глава XV

В тот же вечер, в половине девятого, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой из пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарборо, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйке дома с обычной для него непринужденной грацией. Пожалуй, спокойствие и непринужденность кажутся более всего естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дориана Грея в тот вечер, не смог бы поверить, что он пережил трагедию, страшнее которой ничего не бывает. Не могли эти тонкие, изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы произносить слова, оскверняющие все, что священо для человека! Дориан и сам удивлялся своему спокойствию. Более того, думая о своей двойной жизни, он испытывал острое наслаждение.

В этот вечер у леди Нарборо гостей было немного — только те, кого она успела пригласить в самый последний момент. Леди Нарборо была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, следы замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека, а когда супруг отправился в мир иной, похоронила его с подобающей пышностью, поместив упокоившееся тело в мраморный мавзолей, сооруженный по ее собственному рисунку. Дочерей своих она выдала замуж за богатых, но довольно пожилых людей, и теперь, получив полную свободу, наслаждалась французскими романами, французской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось обнаружить его.

Дориан был одним из ее любимцев, и в разговорах с ним она не раз высказывала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретила с ним, когда была еще молодой.

«Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый, — говаривала она, — и ради вас готова была бы забросить свой чепец за мельницу[78]. Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было! Впрочем, в мое время дамские чепцы были так безобразны, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне так и не пришлось с кем-либо пофлиртовать. И конечно, больше всего в этом виноват был Нарборо. Он был ужасно близорук, а что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит?»

В этот вечер в гостиной леди Нарборо было довольно скучно. К ней, как она тихонько пояснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером, совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей и, что всего хуже, привезла с собой супруга.

— Я считаю, это очень неделикатно с ее стороны, — шепотом жаловалась она. — Правда, я тоже у них гощу каждое лето по возвращении из Хомбурга[79], но ведь в моем возрасте просто необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И, кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там влачат существование! Настоящие провинциалы! Как и все в провинции, они встают чуть свет, потому что у них так много дел, и ложатся совсем рано, потому что им так мало есть о чем думать. Со времен королевы Елизаветы во всей округе не было ни одной скандальной истории, и им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними! Я вас посажу подле себя, и вы будете занимать только меня.

Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось явно неинтересное. Двоих он видел в первый раз, а кроме них, здесь были Эрнест Харроуден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья; леди Рэкстон, чересчур разряженная сорокасемилетняя дама с

крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что, к великому ее огорчению, никто не верил в ее безнравственные намерения; миссис Эрлин, дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и прेमилло картавившая; дочь леди Нарборо, леди Элис Чэпмен, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом; ее муж, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить.

Дориан уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарборо взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула:

— Генри Уоттон непозволительно опаздывает! А ведь я специально послала к нему слугу сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти.

Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана, и, когда дверь открылась и он услышал протяжный и мелодичный голос, придававший особое очарование его неискреннему извинению, испытываемые им скуку и досаду как рукой сняло.

За обедом Дориан ничего не стал есть. Блюдо за блюдом, ставившиеся перед ним, уносили затем нетронутыми. Леди Нарборо все время укоряла его за то, что он «обижает бедного Адольфа, который составил меню специально по своему безукоризненному вкусу», а лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дориану шампанского, и Дориан выпивал его залпом, — жажда мучила его все сильнее.

— Дориан, — обратился к нему лорд Генри, когда подали заливное из дичи. — Что это с вами сегодня? Вы на себя не похожи.

— Наверное, влюбился! — засмеялась леди Нарборо. — И боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать!

— Дорогая леди Нарборо, — сказал Дориан с улыбкой, — я ни в кого не влюблен вот уже целую неделю — с тех пор как из Лондона уехала мадам де Феррол.

— Как это вы, мужчины, можете увлекаться такими женщинами! Это для меня полная загадка, — заметила старая дама.

— Мы ее любим за то, леди Нарборо, что она вас помнит маленькой девочкой, — ответил лорд Генри. — Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами.

— Она вовсе не помнит моих коротких платьиц, лорд Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была тридцать лет назад, когда мы встретились в Вене, и какое у нее было тогда декольте.

— Она и теперь появляется в обществе точно с таким же декольте, — отозвался лорд Генри, беря своими длинными пальцами маслину. — И когда нарядится, напоминает роскошное издание плохого французского романа. Но она занятная женщина, от нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. А какое у нее любвеобильное сердце, какая склонность к семейной жизни! Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые.

— Гарри, как вам не стыдно! — воскликнул Дориан.

— В высшей степени поэтическое объяснение! — воскликнула леди Нарборо со смехом. — Вы говорите, третий муж? Неужели же Феррол — четвертый?

— Именно так, леди Нарборо!

— Ни за что не поверю.

— В таком случае спросите у мистера Грея, ее близкого друга.

— Мистер Грей, это правда?

— По крайней мере, так она утверждает, леди Нарборо. Я спросил у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита Наваррская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца.

— Четыре мужа! Вот уж можно сказать — *trop de zele!*[80]

— Вернее — *trop d'audace!*[81] Я так и сказал ей, — отозвался Дориан.

— О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой! А что собой представляет этот Феррол? Я его не знаю.

— Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников, — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина.

Леди Нарборо ударила его веером.

— Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком.

— Неужели? — спросил лорд Генри, поднимая брови. — Вероятно, вы имеете в виду тот свет? С этим светом я в прекрасных отношениях.

— Нет, все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек, — настаивала леди Нарборо, качая головой.

Лорд Генри на минуту стал серьезен.

— Просто возмутительно, — сказал он, — что в наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые являются абсолютной правдой.

— Честное слово, он неисправим! — воскликнул Дориан, подавшись вперед.

— Надеюсь, это так, — подхватила, рассмеявшись, леди Нарборо. — Послушайте — раз все вы так восторгаетесь мадам де Феррол, придется, видно, и мне выйти замуж во второй раз, чтобы не отстать от моды.

— Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо, — возразил лорд Генри, — потому что вы были слишком счастливы в браке. Женщина выходит вторично замуж только в том случае, если не любила первого мужа. А мужчина женится второй раз только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут в браке счастья, мужчины ставят свое на карту.

— Нарборо был не так уже безупречен, — заметила старая леди.

— Если бы он был совершенством, вы бы его не любили. Женщины любят нас за наши недостатки, и, если этих недостатков достаточно много, они готовы все нам простить, даже ум... Боюсь, что за такие речи вы перестанете приглашать меня к обеду, леди Нарборо, но что поделаешь — это истинная правда.

— Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, то что было бы с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться, все вы остались бы несчастными холостяками. Правда, и это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые — как женатые.

— *Fin de siecle!*[82] — проронил лорд Генри.

— *Fin du globe!*[83] — подхватила леди Нарборо.

— Если бы поскорее наступил *fin du globe!* — вздохнул Дориан. — Жизнь — сплошное разочарование.

— Ах, мой друг, не говорите мне, что вы исчерпали все, что есть в жизни! — воскликнула леди Нарборо, натягивая перчатки. — Когда человек так говорит, знайте, что это жизнь исчерпала его. Вот лорд Генри — человек безнравственный, а я порой жалею, что всю жизнь была добродетельной. Но вы — другое дело. Вы не можете быть безнравственным — это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?

— Я ему всегда об этом твержу, леди Нарборо, — сказал лорд Генри с поклоном.

— Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю Дебретта[84] и составлю список всех невест, достойных мистера Грея.

— И укажете их возраст, хорошо, леди Нарборо? — спросил Дориан.

— Обязательно укажу, — конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается «Морнинг пост», подобающий брак и чтобы вы и ваша жена были счастливы.

— Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках! — возмутился лорд Генри. — Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит.

— Какой же вы циник! — воскликнула леди Нарборо, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рэкстон. — Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрю. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию.

— Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым, — ответил лорд Генри. — Только, пожалуй, в этом случае вам удастся собрать исключительно дамское общество.

— Боюсь, что да! — со смехом согласилась леди Нарборо.

Она встала из-за стола и обратилась к леди Рэкстон:

— Ради бога, извините, моя дорогая, я не заметила, что вы еще не закурили папиросу.

— Не беда, леди Нарборо, я слишком много курю. Я уже решила быть умереннее.

— Ради бога, не надо, леди Рэкстон, — сказал лорд Генри. — Воздержание — в высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно что обыкновенный скучный обед, а неумеренность —

праздничный пир.

Леди Рэкстон с любопытством посмотрела на него.

— Непременно приезжайте ко мне как-нибудь, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория кажется мне увлекательной, — сказала она, выходя из столовой.

— Ну, мы уходим наверх, а вы тоже не занимайтесь тут слишком долго политикой и сплетнями, приходите поскорее, иначе мы там все перессоримся, — проговорила леди Нарборо с порога.

Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чэпмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже пересел — поближе к лорду Генри. Мистер Чэпмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, то и дело слышалось среди взрывов смеха. Мистер Чэпмен поднимал британский флаг на башнях Мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации (этот оптимист, конечно, именовал ее «английским здравым смыслом») есть подлинный оплот нашего общества.

Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана.

— Ну что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе?

— Нет, я совершенно здоров, Генри. Немного устал, вот и все.

— Вчера вы были в ударе и совершенно пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Селби.

— Да, она обещала приехать двадцатого.

— И Монмаут приедет с нею?

— Ну конечно, Гарри.

— Он мне ужасно надоел, почти так же, как ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у Воображения, этого золотого идола, глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки у герцогини очень красивы, но они не глиняные. Скорее из белого фарфора, то есть прошли через огонь, а то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни.

— Давно она замужем? — спросил Дориан.

— По ее словам, целую вечность. А в книге пэров, насколько я помню, указано десять лет. Но десять лет жизни с Монмаутом — это целая вечность... А кто еще приедет в Селби?

— Уиллоби и лорд Рэгби — оба с женами, затем леди Нарборо, Джефффри Клаустон, — словом, обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана.

— А, вот это хорошо! Он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил. Если иной раз чересчур франтит, то этот грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный человек.

— Погодите радоваться, Гарри, — еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, ему придется везти отца в Монте-Карло.

— Ох, что за несносный народ эти родители! Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал, уговорите его... Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера вечером, — еще и одиннадцати не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой?

Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился.

— Нет, Гарри, — не сразу ответил он. — Домой я вернулся только около трех.

— Были в клубе?

— Да... То есть нет! — Дориан прикусил губу. — В клубе я не был. Так гулял... Не помню, где был... Как вы любопытны, Гарри! Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собою ключ, и моему камердинеру пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него.

Лорд Генри пожал плечами:

— Полноте, мой дорогой, зачем это мне? Пойдемте в гостиную к дамам... Нет, спасибо, мистер Чэпмен, я не пью хереса... С вами явно что-то случилось, Дориан! Скажите мне, что? Вы сегодня сам не свой.

— Ах, Гарри, не обращайтесь на меня внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду, мне надо ехать домой. Передайте леди Нарборо мои извинения.

— Прощайте, Дориан. Жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет.

— Постараюсь, — сказал Дориан, уходя.

Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова возвратился к нему. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас крайне необходимо сохранять самообладание. Предстояло еще уничтожить много улик, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно.

Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дориан запер дверь изнутри и открыл тайник в стене, куда спрятал пальто и саквояж Бэзила. В камине пылал яркий огонь. Дориан подбросил еще поленьев... Запах паленого сукна и горячей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться целых три четверти часа. Под конец Дориана даже начало тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом...

Вдруг зрачки его расширились, в глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентийский шкаф из черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и ляпис-лазури. Дориан уставился на него как заворуженный, — казалось, шкаф его и привлекал, и пугал, словно в нем хранилось что-то, что его притягивало и что вместе с тем он почти ненавидел. Он задыхался от неистового желания... Закурил папиросу — и бросил. Веки его опустились, так что длинные пушистые ресницы почти касались щек. Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа.

Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся трехугольный ящичек. Пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и оканчивались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странным, тяжелым запахом.

Минуту-другую он медлил с застывшей на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его знобило. Он взглянул на часы... Было без двадцати двенадцать. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню.

Когда бронзовый бой часов возвестил полночь, Дориан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись вышел из дому. На Бонд-стрит он встретил кэб с молодой, поджарой лошадыю. Он подозвал извозчика и вполголоса назвал ему адрес.

Тот покачал головой:

— Слишком далеко.

— Вот вам совершен, — сказал Дориан. — И я дам вам еще один, если довезете быстро.

— Ладно, сэр, — отозвался кучер. — Через час будете на месте.

Дориан сел в кэб, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.

Глава XVI

Лил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался пугающе мертвенным. Трактиры уже закрывались, у дверей группками стояли мужчины и женщины. Из одних питейных заведений доносились на улицу взрывы грубого хохота, из других — пьяная ругань и визги. Дориан Грей, откинувшись на спинку сиденья и низко надвинув на лоб шляпу, равнодушно взирал из кэба на эту отвратительную изнанку жизни большого города, и в ушах у него звучали слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства: «Исцеляйте душу с помощью ощущений, а ощущения — с помощью души». Да, в этом весь секрет! Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Для этого существуют притоны курильщиков опиума, где можно купить забвение, или различного рода вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых.

Низко висевшая в небе луна напоминала желтый череп. Порой к ней подплывали огромные, безобразные тучи и, протягивая свои длинные щупальца, закрывали ее. Все меньше становилось уличных фонарей, а извилистые переулки, по которым проезжал теперь кэб, становились все более узкими и мрачными. Извозчик даже сбился с дороги, и пришлось с полмили ехать назад. От лошади, больше часа шлепавшей по лужам, густо поднимался пар. Боковые стекла кэба были плотно окутаны серой пеленой тумана.

«Исцеляйте душу с помощью ощущений, а ощущения — с помощью души». Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана! Да, душа его смертельно больна. Но можно ли ее исцелить ощущениями? Он пролил

невинную кровь. Чем можно искупить этот грех? Нет, такое ничем не искупишь!..

Ну что ж, если такое нельзя простить, то, по крайней мере, можно забыть. И Дориан твердо решил вычеркнуть этот грех из памяти, убить прошлое, как убивают змею, ужалившую человека. В самом деле, какое право имел Бэзил говорить с ним подобным образом? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ему ужасные слова, — слова, которые невозможно было стерпеть.

Кэб тащился все медленнее. Дориан опустил стекло и крикнул извозчику, чтобы тот ехал быстрее. Он чувствовал, что больше не может без опиума: в горле пересохло, холеные руки конвульсивно сжимались. Схватив трость, он в бешенстве ударил по крупу лошадь. Извозчик рассмеялся и в свою очередь подстегнул ее кнутом. Дориан засмеялся в ответ — и извозчик сразу притих.

Казалось, их путешествие не будет конца. Нескончаемая сеть узких улочек напоминала широко раскинувшуюся черную паутину, сотканную огромным пауком. В однообразии их было что-то угнетающее. Туман все сгущался. Дориану стало не по себе.

Путь их пролегал мимо пустынного квартала кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига кирпичей, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые веерообразные языки пламени. На обочину дороги выскочила собака и проводила кэб залившимся лаем, откуда-то издали доносились пронзительные крики заблудившейся в ночи чайки. Лошадь оступилась, попав копытом в колею, шарахнулась в сторону и припустила галопом.

Через некоторое время они свернули с грунтовой дороги, и кэб снова загрохотал по неровной мостовой. В окнах домов было темно, и только кое-где на освещенной изнутри шторе мелькали фантастические силуэты. Дориан завороченно смотрел на них. Они двигались, словно огромные марионетки, но жестикулировали, как существа из плоти и крови. Они были ненавистны ему. В душе у него зрела глухая ярость. Когда завернули за угол, на порог одного из домов выскочила женщина и стала что-то вопить им вслед, в другом месте за кэбом погнались двое мужчин и успели пробежать ярдов сто, прежде чем извозчику удалось отогнать их кнутом.

Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются по замкнутому кругу. И действительно, искусанные губы Дориана Грея с назойливой настойчивостью твердили парадоксальную фразу лорда Генри о взаимном исцелении души и ощущений, пока он не внушил себе, что она полностью выражает его настроение и оправдывает владеющие им страсти, которые, впрочем, в любом случае владели бы им. Эта мысль заполонила его мозг, клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни — самый страшный из человеческих appetitov, заставляла трепетать все до единого нервы и фибры его существа. Уродства жизни, когда-то столь ненавистные ему, ибо являлись принадлежностью грубой реальности, по той же самой причине стали ему теперь дороги. Да, безобразие мира — это единственная реальность. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, полная аморальность воров и других подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения искусства и грезы, навеваемые музыкой. Они были ему нужны, потому что давали забвение. Он знал, что с их помощью он уже через три дня отделается от воспоминаний.

Вдруг извозчик резко остановил кэб у начала какого-то темного переулка. За крышами и ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей. Клубы белого тумана, похожие на призрачные паруса, льнули к корабельным реям.

— Мне сдается, это где-то здесь, сэр, — хрипло проговорил извозчик через стекло.

Дориан встрепенулся и окинул улицу взглядом.

— Да, это здесь, — ответил он и, поспешно выйдя из кэба, дал извозчику обещанный второй соверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Сияющий красными огнями океанский пароход загружался углем, собираясь в далекое плавание. Скользящая, блестящая мостовая была похожа на мокрый макинтош.

Дориан пошел налево, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через семь-восемь минут он добрался до ветхого домика, вклинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Дориан остановился и постучал в дверь. Стук был условный.

Через минуту он услышал шаги в коридоре, и вслед за тем забренчала снимаемая с крючка дверная цепочка. Дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая гостю дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, заколыхавшаяся от порыва ветра, залетевшего с улицы через открытую дверь. Отдернув занавеску, Дориан вошел в продолговатое помещение с низким потолком, похожее на третьеразрядный танцкласс. На стенах горели газовые рожки, их резкий свет тускло и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы из гофрированной жести казались дрожащими кругами огня. Пол был усыпан

ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках у топившейся железной печки, играли в кости, болтали и смеялись, скаля белые зубы. В углу он увидел какого-то матроса, который сидел, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, а у безвкусно размалеванной стойки, протянувшейся вдоль всей стены, две изможденные женщины поддразнивали старика, который был занят тем, что брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто.

— Ему все чудится, будто по нему ползают рыжие муравьи, — сказала одна из женщин проходившему мимо Дориану и рассмеялась. Старик испуганно посмотрел на нее и захныкал.

Из дальнего конца комнаты небольшая лестница вела в полутемное помещение. Дориан торопливо поднялся по трем расшатанным ступенькам и вошел внутрь. Его встретил тяжелый запах опиума. Он глубоко вдохнул, и ноздри его затрепетали от удовольствия. В глубине комнаты светловолосый молодой человек, склонившись над лампой, закуривал длинную тонкую трубку и, когда вошел Дориан, взглянул на него и неуверенно кивнул головой.

— Так вы здесь, Адриан?

— Где же мне еще быть? — последовал вялый ответ. — Со мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет.

— А я думал, вы уехали из Англии.

— Дарлингтон палец о палец не ударит для этого. А вот братец мой наконец уплатил по векселю...

Джордж тоже меня знать не хочет... Ну да все равно, — добавил он со вздохом. — Пока у меня есть эта травка, никакие друзья не нужны. Да и слишком их у меня было много.

Дориан поморщился и обвел взглядом жалкие фигуры, в самых нелепых и причудливых позах лежавшие на рваных матрацах. Судорожно заломленные руки, разинутые рты, тупо уставившиеся в пространство глаза — это зрелище словно гипнотизировало его. Ему хорошо были знакомы и муки того рая, в котором пребывали эти люди, и тот мрачный ад, что открывал им тайны неизведанного блаженства. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих навязчивых мыслей. Воспоминания, точно страшная болезнь, разъедали его душу. То и дело ему казалось, что на него пристально смотрят глаза Бэзила Холлуорда. Как ни жаждал он поскорее забыться, ему не хотелось здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона беспокоило его. Хотелось уйти туда, где его никто не знает. Хотелось уйти от самого себя.

— Пойду в другое место, — сказал он после некоторого молчания.

— На верфь?

— Да.

— Но там, наверно, эта дикая кошка. Сюда ее теперь не пускают.

Дориан пожал плечами.

— Ну что ж! Мне до тошноты надоели женщины, которые чуть что — и влюбляются. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. Да и зелье там получше.

— Да нет, такое же.

— А я говорю — лучше. Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиток.

— А мне ничего не хочется, — пробормотал Адриан.

— Все равно, пойдемте.

Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Дорианом к буфету. Мулат в рваной чалме и потрепанном длинном пальто поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у стойки, тотчас же придвинулись к ним и попытались затеять с ними разговор. Дориан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону.

Одна из женщин криво усмехнулась.

— Ишь какой он сегодня гордый! — фыркнула она.

— Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дориан, топнув ногой об пол. — Чего тебе надо? Денег? На, возьми, но не вздумай больше со мной заговаривать.

Красные искорки вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас погасли, и глаза ее снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты. Ее подруга завистливо наблюдала за ней.

— Ни к чему это, — со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор. — Я не стремлюсь вернуться туда. Зачем? Мне и здесь хорошо.

— Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. Обещаете? — спросил Дориан, помолчав.

— Не знаю, может быть.

— Ну, тогда прощайте.

— До свидания, — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, направился в конец комнаты.

Дориан с сожалением посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Отодвигая занавеску, он услышал пьяный смех женщины, которой он дал деньги.

— Покидает нас это исчадие ада! — хрипло закричала она, икая.

— Не смей меня так называть, чертова кукла! — крикнул Дориан в ответ.

Она щелкнула пальцами и заорала ему вслед:

— А тебе хочется, чтобы тебя называли Прекрасный Принц, да?

Дремавший за столом матрос, услышав эти слова, вскочил и осоловело огляделся вокруг. Когда из прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он стремглав выбежал, словно за ним гнались.

На улице моросил дождь. Дориан Грей вышел на набережную и быстро зашагал вдоль реки. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Бэзил Холлуорд, когда с такой оскорбительной прямоотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело его, Дориана, рук. Он закусил губу, и ему стало грустно.

Хотя почему это его должно волновать? Жизнь слишком коротка, чтобы взвалить на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам. Жаль только, что так часто человеку за одну-единственную ошибку приходится расплачиваться так много раз. В своих расчетах с человеком Судьба никогда не считает, что с ней полностью расплатились.

Если верить психологам, бывают моменты, когда потребность совершить грех настолько овладевает человеком, что он не может этому противостоять. В такие моменты и мужчины, и женщины полностью теряют волю. Как автоматы, идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода, сознание их либо молчит, либо своим вмешательством только делает этот мятеж еще заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самый страшный из грехов — это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж.

Бесчувственный ко всему, стремясь лишь поскорее утолить жгучую жажду своей порочной души, Дориан Грей спешил по набережной, все ускоряя шаг. Но когда он уже нырнул в темный крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся, кто-то сзади неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене, сильной рукой вцепившись ему в горло.

Дориан стал отчаянно сопротивляться и, сделав последнее усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и перед глазами Дориана блеснул револьвер, который тут же был направлен ему в лоб. Он смутно видел в темноте стоявшего перед ним невысокого, коренастого мужчину.

— Что вам от меня надо? — спросил Дориан, задыхаясь.

— Стой тихо! — скомандовал незнакомец. — Попробуй только шевельнуться — и я тебя пристрелю.

— Вы с ума сошли! Что я вам сделал?

— Ты погубил Сибиллу Вейн — вот что, а Сибилла Вейн — моя сестра. Она покончила с собой. Я знаю, это ты виноват в ее смерти, и я поклялся прикончить тебя. Я разыскивал тебя много лет — у меня не было ни твоего имени, ни адреса, ничего... Только два человека могли бы тебя описать, но оба они умерли. Я ничего не знал о тебе — только то ласкательное прозвище, которое она тебе дала. И сегодня я вдруг случайно услышал его. Так что приготовься — сейчас ты умрешь.

Дориан Грей похолодел от страха.

— Я с ней не был знаком — заикаясь, произнес он. — И никогда не слышал этого имени. Вы с ума сошли!

— Лучше покайся в своих грехах, потому что сейчас ты отправишься на тот свет — это так же верно, как то, что я — Джеймс Вейн.

Дориан не знал, что делать, что сказать.

— На колени! — прорычал Джеймс Вейн. — Даю тебе одну минуту, чтобы ты помолился. Сегодня я ухожу в плавание, но сначала должен с тобой расквитаться. Даю одну минуту, не больше.

Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда.

— Постойте! — воскликнул он. — Сколько прошло лет с тех пор, как умерла ваша сестра? Ну скажите же мне!

— Восемнадцать, — ответил матрос. — Почему ты спрашиваешь? Какая разница, сколько лет?

— Восемнадцать лет! — Дориан Грей рассмеялся торжествующим смехом. — Восемнадцать лет! А теперь подойдите к фонарю, и вы можете взглянуть на меня!

Джеймс Вейн некоторое время стоял в нерешительности, не понимая, что это значит. Но затем, схватив Дориана за воротник, подтащил к фонарю.

Как ни слаб был задуваемый ветром огонек фонаря, его было достаточно, чтобы Джеймс Вейн понял: он чуть было не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности, ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше двадцати лет. Он был ненамного старше — а может быть, и вовсе не старше, — чем Сибилла много лет назад, когда Джеймс расстался с нею. Было ясно, что это не тот, кто погубил ее.

Джеймс Вейн отпустил Дориана из рук и шагнул в сторону.

— Господи помилуй! А я чуть было не застрелил вас!

Дориан тяжело перевел дух.

— Да, вы чуть не совершили ужасное преступление, — сказал он, с ненавистью глядя на Джеймса. — Пусть это послужит вам уроком: человек не должен брать на себя миссию отмщения, это может делать только Господь Бог.

— Простите меня, сэр, — пробормотал Вейн. — Меня просто сбили с толку те два слова, которые я услышал в этой проклятой дыре — и я пошел по ложному следу.

— Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте, не то попадете в беду, — сказал Дориан и, повернувшись, неторопливо зашагал дальше.

Джеймс Вейн, все еще не опомнившись от потрясения, так и остался стоять на мостовой. Он дрожал всем телом. Через некоторое время вдоль мокрой стены скользнула чья-то черная тень, затем вышла на свет и неслышными шагами приблизилась к матросу. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он вздрогнул и оглянулся. Это была одна из тех женщин, которые стояли у буфета в притоне.

— Почему ты его не убил? — прошипела она, вплотную приблизив к нему свое испитое лицо. — Когда ты выбежал от Дэйли, я сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх ты, дуралей, надо было его пристукнуть. У него куча денег, и он — настоящий дьявол.

— Он не тот, кого я ишу, — ответил Джеймс Вейн. — А чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь, должно быть, под сорок. А этот — еще почти мальчик. Слава Богу, что я его не убил, не то запачкал бы руки кровью невинного человека.

Женщина саркастически рассмеялась и воскликнула:

— Почти мальчик! Как бы не так! Если хочешь знать, вот уже скоро восемнадцать лет, как Прекрасный Принц сделал меня такой, какой ты меня сейчас видишь.

— Ты врешь! — воскликнул Джеймс Вейн.

Она подняла руку:

— Говорю как перед Господом, это святая правда!

— Перед Богом?

— Чтob у меня язык отсох, если я вру!.. Сюда таскаются многие, но этот — хуже их всех. Говорят, он за красивое лицо продал черту душу. Вот уж скоро восемнадцать лет как я его знаю, а он почти не переменялся... Не то что я, — добавила она с печальной усмешкой.

— Можешь поклясться?

— Клянусь! — хриплым голосом произнесла она. — Но ты меня не выдавай, — добавила она жалобно. — Я его боюсь. И подкинь мне деньжонок — за ночлег заплатить.

Он чертыхнулся и бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дориан Грей, но того и след простыл. Когда Джеймс Вейн оглянулся, женщины тоже не было.

Глава XVII

Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее своей усадьбы Селби-Ройал, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим шестидесятилетним стариком. Было время чаепития, и мягкий свет большой лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяйничала герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные

красные губы улыбались, — видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дориан. Лорд Генри наблюдал за ними, откинувшись на спинку обтянутого шелком плетеного кресла, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая вид, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби съехалось уже двенадцать человек, и назавтра ожидали новых гостей.

— О чем это вы беседуете? — спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя на него свою чашку. — Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте всё и здесь переименовать?.. Это замечательная идея.

— А я вовсе не хочу менять имя, Гарри, — возразила герцогиня, поднимая на него свои красивые глаза. — Я вполне довольна своим, и, наверное, мистер Грей тоже.

— Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваше и Дориана. Уж очень они хороши. Я имею в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для бутоньерки, чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как семь смертных грехов, и машинально спросил у садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что это прекрасный сорт «робинзониана»... или что-то столь же неблагозвучное. Право, мы разучились давать вещам красивые названия, — да-да, это печальная истина! А ведь слово — это все. Я никогда не придираюсь к поступкам, я требователен только к словам... Потому-то я и не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой[85], следовало бы заставить работать ею — только на это он и годен.

— Ну а какое новое имя можно было бы дать вам, Гарри? — спросила герцогиня.

— Принц Парадокс, — ответил за своего друга Дориан.

— Удачно придумано! — воскликнула герцогиня.

— И слышать не хочу о таком имени! — со смехом запротестовал лорд Генри, садясь в кресло. — Ярлык пристанет, так уж потом от него не избавишься. Нет, я отказываюсь от этого титула.

— Королевские особы не должны отрекаться от своих титулов, — промолвили красивые губки герцогини.

— Значит, вы хотите, чтобы я оправдал этот титул?

— Разумеется.

— Но я изрекаю только те истины, которые относятся к завтрашнему дню!

— А я предпочитаю сегодняшние заблуждения, — парировала герцогиня.

— Вы меня обезоруживаете, Глэдис! — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением.

— Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри.

— Я никогда не сражаюсь против Красоты, — сказал он с галантным поклоном.

— Это ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы цените красоту слишком высоко.

— Полноте, Глэдис! Хотя, разумеется, я считаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, я первый готов согласиться, что лучше уж быть добродетельным, чем безобразным.

— Выходит, что некрасивость — один из семи смертных грехов? — воскликнула герцогиня. — А как же вы только что сравнивали с ними орхидеи?

— Нет, Глэдис, некрасивость — одна из семи смертных добродетелей. И вам, как стойкой тори, не следует умалять их значения. Пиво, Библия и семь смертных добродетелей сделали нашу Англию такой, какая она есть.

— Значит, вы не любите нашу страну?

— Я живу в ней.

— Чтобы было больше оснований ее ругать?

— А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней?

— Что же там о нас говорят?

— Что Тартюф[86] эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю.

— Вы сами придумали эту остроту, Гарри?

— Да, и я дарю ее вам.

— И что мне с ней делать? Она слишком похожа на правду.

— Вам нечего опасаться. Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах.

— Потому что они — люди благоразумные.

— Скорее хитрые. Когда они сводят баланс, глупость покрывается богатством, а порок — лицемерием.

— Все-таки в прошлом мы вершили великие дела.

— Нам их навязали, Глэдис.

— Но мы с честью несли их бремя.

— Не дальше, чем до Фондовой биржи.

Герцогиня покачала головой.

— Я верю в величие нашей нации.

— Оно заключается лишь в предприимчивости и напористости.

— В нем — залог развития.

— Мне милее упадок.

— А как же искусство? — спросила Глэдис.

— Оно — болезнь.

— А любовь?

— Иллюзия.

— А религия?

— Модный суррогат веры.

— Вы скептик.

— Ничуть! Ведь скептицизм — начало веры.

— Так кто же вы, в таком случае?

— Определить — значит ограничить.

— Ну дайте мне хоть нить!..

— Нити обрываются. И вы рискуете заблудиться в лабиринте.

— Вы меня окончательно загнали в угол. Давайте поговорим о другом.

— Вот превосходная тема — хозяин дома. Много лет назад его окрестили Прекрасным Принцем.

— Ах, не напоминайте мне об этом! — воскликнул Дориан Грей.

— Хозяин сегодня несносен, — сказала герцогиня, лицо которой очаровательно покраснелось. — Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне прекрасный экземпляр современной бабочки.

— Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня? — со смехом сказал Дориан.

— Достаточно того, что в меня втыкает булавки моя горничная, когда сердится.

— И за что же она на вас сердится, герцогиня?

— Из-за пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обычно за то, что я прихожу без десяти девять и заявляю ей, что она должна меня одеть к половине девятого.

— Очень глупо с ее стороны! Вам бы следовало прогнать ее, герцогиня.

— Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне фасоны шляпок. Помните ту, в которой я была у леди Хилстон? Вижу, что забыли, но из любезности делаете вид, будто помните. Так вот, она эту шляпку сделала из ничего. Все хорошие шляпы создаются из ничего.

— Как и все хорошие репутации, Глэдис, — вставил лорд Генри. — А когда человек в чем-нибудь действительно отличится, он наживает врагов. У нас залогом популярности является одна лишь посредственность.

— Только не для женщин, Гарри! — покачала головой герцогиня. — А ведь женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то когда-то сказал, что мы, женщины, любим ушами, а вы, мужчины, любите глазами... Если только вы вообще когда-нибудь любите.

— Мне кажется, мы только это и делаем, — сказал Дориан.

— Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей, — ответила герцогиня с шутливым огорчением.

— Милая моя Глэдис, что за ересь! — воскликнул лорд Генри. — Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом всякий раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает ее. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще.

— Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри? — спросила герцогиня, помолчав.

— Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит, — ответил лорд Генри.

Герцогиня повернулась к Дориану и как-то странно посмотрела на него.

— Что вы на это скажете, мистер Грей? — спросила она.

Дориан ответил не сразу. Наконец сказал, рассмеявшись:

- Я, герцогиня, всегда и во всем соглашаюсь с Гарри.
- Даже когда он не прав?
- Гарри всегда прав, герцогиня.
- И что же, его философия помогла вам найти счастье?
- Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждений.
- И находили, мистер Грей?
- Часто. Слишком часто.

Герцогиня сказала со вздохом:

— А я ищу только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня.
— Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей, герцогиня! — воскликнул Дориан с живостью и, вскочив, направился в глубь оранжереи.

— Вы бессовестно с ним кокетничаете, Глэдис, — сказал лорд Генри своей кузине. — Берегитесь! Чары его сильны.

- Если бы это было не так, не с чем было бы бороться.
- Значит, речь идет о достойных противниках? Как говорится, грек идет на грека, не правда ли?
- Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.
- И потерпели поражение.
- Бывают вещи страшнее плена, — бросила герцогиня.
- Эге, вы, образно выражаясь, скачете, бросив поводья!
- Только в скачке и жизнь, — был ответ.
- Я это запишу сегодня в моем дневнике.
- Что именно?
- Что ребенок, обжегшись, вновь тянется к огню.
- Огонь меня и не коснулся, Гарри. Мои крылья целы.
- Они вам служат для чего угодно, только не для полета: вы и не пытаетесь улететь от опасности.
- Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое ощущение.
- А вы знаете, что у вас есть соперница?
- Кто?
- Леди Нарборо, — шепнул ей лорд Генри и рассмеялся. — Она в него положительно влюблена.
- Вы меня пугаете. Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков.
- Это женщины-то — романтики? Да вы выступаете во всеоружии научных методов!
- Нас этому научили мужчины.
- Научить-то они вас научили, а вот изучить вас до сих пор не сумели.
- Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас! — подзадорила его герцогиня.
- Вы — сфинксы без загадок.

Герцогиня ответила на это улыбкой.

— Однако долго же мистер Грей выбирает для меня орхидеи! — сказала она. — Пойдемте поможем ему. Он ведь еще не знает, какого цвета платье я надену к обеду.

- Вам придется подобрать платье к его орхидеям, Глэдис.
- Это было бы преждевременной капитуляцией.
- Романтика в искусстве начинается с кульминационного момента.
- Но я должна обеспечить себе путь к отступлению.
- Подобно парфянам?[87]
- Парфяне спаслись, уйдя в пустыню. А я этого не могу.
- Для женщин не всегда возможен выбор, — заметил лорд Генри.

Но едва он успел договорить, как из дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук, словно от падения чего-то тяжелого. Все всполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте, а лорд Генри, тоже испуганный, побежал, раздвигая качавшиеся листья пальм, туда, где на плиточном полу лицом вниз лежал в глубоком обмороке Дориан Грей.

Его тотчас перенесли в голубую гостиную и уложили на диван. Он скоро пришел в себя и с недоумением обвел глазами комнату.

— Что случилось? — спросил он. — А, вспоминаю! Скажите, Гарри, я здесь в безопасности? — И он вдруг весь задрожал.

— Ну конечно, дорогой мой! У вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду. Я вас заменю.

— Нет, я пойду с вами, — сказал Дориан, с трудом поднимаясь. — Я не хочу оставаться один.

И он отправился к себе переодеваться.

За обедом он проявлял беспечную веселость, в которой было что-то неестественное, и несколько раз вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи бледное, как белый носовой платок, лицо Джеймса Вейна, который следил за ним.

Глава XVIII

Весь следующий день Дориан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, охваченный страхом смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотятся, что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветру шевельнуть портьеру, как Дориан уже вздрагивал. Сухие листья, которые бились шурша в стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо матроса, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал его сердце.

Но, может быть, это ему показалось? Может быть, это только игра его воображения, вызвавшего из мрака ночи призрак мстителя и рисующего ему жуткие картины ожидающего его возмездия? Действительность — это хаос, но в работе человеческого воображения есть неумолимая логика. И только наше воображение заставляет раскаяние следовать по пятам за преступлением. Только воображение рисует нам пугающие последствия каждого нашего греха. В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и все.

И, наконец, если бы посторонний человек бродил вокруг дома, его бы непременно увидели слуги или сторожа. На грядках под окном оранжереи остались бы следы — и садовники сразу доложили бы об этом. Нет-нет, все это только его фантазия! Брат Сибиллы не мог вернуться, чтобы убить его. Он уплыл на корабле и, должно быть, погиб где-нибудь в открытом море. Да, Джеймс Вейн больше не представляет для него опасности. Ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла Прекрасного Принца.

Так рассуждая, Дориан в конце концов уверил себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было представить, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им зримое обличье, заставлять их являться перед человеком! Во что бы превратилась его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели бы на него из темных углов, издеваясь над ним, шептали бы ему что-то на ухо во время пиров, будили бы его ледяным прикосновением, когда он уснет! При этой мысли Дориан бледнел и холодел от страха. Ах, зачем он в исступленном порыве, порожденном приступом безумия, убил своего друга! Как жутко вспоминать эту сцену! Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступления. Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к Дориану, он застал его в слезах. Дориан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя.

Только на третий день он решился выйти из дому. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дориана восстала против чрезмерности мук, калечащих ее, нарушающих ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами. Сильные страсти, если они не укрощены, сокрушают таких людей. Страсти эти либо убивают, либо умирают сами. Мелкие горести и неглубокая любовь живучи. Великая любовь и великое горе гибнут от избытка своей силы.

Дориан смог убедить себя, что он жертва своего перевозбужденного воображения, и уже вспоминал свои страхи с чувством, похожим на снисходительную жалость — жалость, в которой была немалая доля пренебрежения.

После завтрака он целый час гулял с герцогиней в саду, потом поехал через парк к тому месту, где должны были собраться охотники. Сухой хрустящий иней словно солью покрывал траву. Небо походило на опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая кромка льда окаймляла у берегов поросшее камышом тихое озеро.

На опушке соснового леса Дориан увидел брата герцогини, сэра Джеффри Клаустона: он извлекал из своего ружья пустые патроны. Дориан выскочил из экипажа и, приказав груму отвести лошадь домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника.

— Хорошо поохотились, Джеффри? — спросил он.

— Не особенно. Видно, почти все птицы улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место. Авось там больше повезет.

Дориан решил пойти вместе с ним. Упоительный аромат леса, золотистые и красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, резкое щелканье ружей — все это доставляло ему удовольствие, наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может омрачить.

Вдруг ярдах в двадцати от них, из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Навострив уши с черными кончиками, выбрасывая длинные задние лапки, он стрелой помчался в глубь ольшаника. Сэр Джеффри тотчас взметнул ружье. Но грациозные движения зверька настолько очаровали Дориана, что он импульсивно вскрикнул:

— Не убивайте его, Джеффри, пусть себе живет!

— Что за глупости, Дориан! — рассмеялся сэр Джеффри и выстрелил в тот самый момент, когда заяц юркнул в чащу. Раздался двойной крик — ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик человека.

— О Боже! Я попал в загонщика! — ахнул сэр Джеффри. — Какой это осел полез под выстрел! Эй, перестаньте там стрелять! — крикнул он во всю силу своих легких. — Человек ранен!

Прибежал старший егерь с палкой в руке.

— Где, сэр? Где он?

И в ту же минуту по всей линии охотников затихла стрельба.

— Там, — сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к ольшанику. — Какого черта вы не отвели своих людей подальше? Испортили мне сегодняшнюю охоту.

Дориан смотрел, как оба они, раздвигая гибкие ветки, ныряют в густые заросли. Через минуту они появились оттуда и вынесли бездыханное тело на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его даже здесь. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Среди деревьев, шумно хлопая крыльями, пролетел крупный фазан с медно-красной грудкой.

Через несколько минут, показавшихся выведенному из равновесия Дориану бесконечными часами мучений, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся.

— Дориан, — промолвил лорд Генри. — Я думаю, надо им сказать, чтобы они прекратили охоту. Продолжать ее просто неприлично.

— Ее бы следовало навсегда прекратить, — ответил Дориан с горечью. — Это такая жестокая, отвратительная забава!.. Скажите, а тот человек...

Он не решался договорить вопрос до конца.

— К сожалению, да. Весь заряд дроби угодил ему в грудь. Смерть, должно быть, наступила мгновенно. Пойдемте в дом, Дориан.

Они направились к главной аллее, ведущей к дому, и почти все расстояние прошли молча. Наконец Дориан глянул на лорда Генри и сказал, тяжело вздохнув:

— Это дурное предзнаменование, Гарри, очень дурное!

— Что именно? — спросил лорд Генри. — Вы имеете в виду этот несчастный случай. Но, дорогой мой друг, что тут поделаешь! Убитый был сам виноват — кто же становится под выстрелы? И, кроме того, мы-то тут при чем? Для Джеффри это, конечно, ужасно, я не спорю. Дырять загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок. А между тем это неверно: Джеффри стреляет очень метко. Но не будем больше говорить об этом.

Дориан покачал головой:

— Нет, Гарри, это дурной знак. Я чувствую — случится что-то ужасное... Быть может, даже со мной, — добавил он, проведя рукой по глазам и поморщившись от сильной головной боли.

Лорд Генри рассмеялся:

— Самое страшное на свете — это скука, Дориан. Вот единственный грех, которому нет прощения. Но нам она не грозит, если только наши приятели за обедом не вздумают толковать о случившемся. Надо будет их

предупредить, что это запретная тема. Ну а предзнаменования — вздор, никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников — для этого она достаточно мудра или достаточно жестока. И, наконец, скажите, ради Бога, что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, о чем только может мечтать человек. Каждый был бы рад поменяться с вами.

— А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете! Не смейтесь, Гарри, я не лукавлю. Злополучный крестьянин, которого только что убили, счастливее меня. Смерти я не боюсь — страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О Господи! Разве вы не видите, Гарри, что там, за деревьями, кто-то прячется, что он подстерегает меня?

Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке, и сказал с улыбкой:

— Да, вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. До чего же у вас развинчены нервы, мой милый! Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город.

Дориан вздохнул с облегчением, узнав в подходившем садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину.

— Ее светлость приказали мне подождать ответа.

Дориан сунул письмо в карман.

— Скажите ее светлости, что я уже иду, — сказал он сухо. Садовник повернулся и поспешил к дому.

— Женщины обожают совершать рискованные поступки! — с улыбкой заметил лорд Генри. — Эта черта в них мне импонирует. Женщина готова флиртовать с кем угодно, лишь бы только на это обращали внимание.

— Зато вы любите говорить рискованные вещи, Гарри. И в данном случае вы глубоко ошибаетесь. Герцогиня мне нравится, но я не влюблен в нее.

— А она в вас влюблена, хотя вы не нравитесь ей. Так что вы составите прекрасную пару.

— Это уже похоже на сплетню, Гарри! Причем без малейших оснований.

— Основания для всякой сплетни — уверенность в безнравственности человека, — изрек лорд Генри, закуривая папиросу.

— Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву!

— Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву.

— Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить! — воскликнул Дориан с тоскливой ноткой в голосе. — Но я, кажется, утратил эту способность и разучился даже желать этого. Я всегда был слишком занят собой — и вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, всё забыть!.. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности.

— В безопасности от чего, Дориан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему вы молчите? Вы ведь знаете — я всегда готов прийти вам на помощь.

— Я не могу вам этого рассказать, Гарри, — грустно ответил Дориан. — К тому же, я полагаю, что все это — просто моя фантазия. Этот несчастный случай ужасно меня расстроил; я предчувствую, что и со мной случится нечто подобное.

— Какой вздор!

— Надеюсь, так оно и есть, но ничего не могу с собой поделать. А вот и герцогиня! Настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня.

— Я уже все знаю, мистер Грей, — сказала герцогиня. — Бедный Джеффри ужасно огорчен. И, говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Как странно!

— Да, и в самом деле странно. Не знаю даже, что побудило меня это сказать. Простая прихоть, наверное. Заяц был так трогателен... Очень жаль, что вам рассказали про это. Ужасная история...

— Лучше скажем, досадная история, — поправил его лорд Генри. — И психологически ничуть не интересная. Вот если бы Джеффри убил его нарочно, — это было бы любопытно! Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей!

— Гарри, вы невозможный человек! — воскликнула герцогиня. — Не правда ли, мистер Грей?.. Ох, Гарри, мистеру Грею, кажется, опять дурно! Он сейчас упадет!

Дориан с трудом овладел собой и улыбнулся.

— Пустяки, герцогиня, не беспокойтесь. У меня просто расстроены нервы, вот и все. Пожалуй, я слишком много сегодня ходил пешком... Кстати, я не расслышал: какой еще новый афоризм сообщил вам Гарри? Что-нибудь очень циничное, я полагаю? Вы мне потом расскажете. А сейчас извините меня — мне, пожалуй, лучше пойти прилечь.

Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжереи на террасу. Когда за Дорианом закрылась стеклянная дверь, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее своими томными глазами.

— Вы сильно в него влюблены? — спросил он.

Герцогиня некоторое время молчала, глядя на расстилавшийся перед ними пейзаж.

— Хотела бы я сама это знать, — сказала она наконец.

Лорд Генри покачал головой:

— Знание пагубно для любви. Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется таким необыкновенным.

— Но в тумане можно сбиться с пути.

— Ах, милая Глэдис, все пути приводят к одному.

— К чему же?

— К разочарованию.

— Что касается меня, то я с него начинала свой жизненный путь, — вздохнула герцогиня.

— Вы хотите сказать, что разочарование явилось к вам в короне герцога?

— Мне надоели венки из листьев земляники.

— Но они вам к лицу.

— Только в глазах света.

— Смотрите, вам трудно будет обойтись без них!

— А они останутся при мне, все до единого.

— Но у Монмаута есть уши.

— Старость туга на ухо.

— Неужели он никогда не ревнует?

— Нет. Хоть бы раз!

Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно что-то искал.

— Что вы ищете? — спросила герцогиня.

— Шпичечку от острия вашей рапиры, — отвечал он. — Вы ее обронили.

Герцогиня рассмеялась:

— Но маска осталась на мне.

— Под ней ваши глаза выглядят еще красивее, — улыбнулся лорд Генри.

Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, словно белые зернышки в алой мякоти плода.

А наверху, в своей спальне, лежал на диване Дориан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь стала для него внезапно невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика, которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалась Дориану прообразом его собственного конца. Услышав слова лорда Генри, сказанные им со свойственной ему циничной шутливостью, он едва не лишился чувств.

В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы уложили его вещи и чтобы экипаж был подан к половине девятого, поскольку вечерним поездом он отправляется в Лондон. Он решил не оставаться в Селби на ночь; это — зловещее место, где смерть бродит даже при солнечном свете и где трава в лесу обагрена кровью.

Он оставил лорду Генри записку. В ней он сообщал, что едет в Лондон к врачу, и просил развлекать гостей до его возвращения. Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и камердинер доложил, что пришел старший егерь. Дориан нахмурился и закусил губу.

— Пусть войдет, — проговорил он после минутного колебания.

Как только егерь вошел, Дориан достал из ящика чековую книжку и, положив ее перед собой и берясь за перо, сказал:

— Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торнтон?

— Так точно, сэр, — ответил егерь.

— Был ли этот бедняга женат? Была ли у него семья? — спросил Дориан рассеянно. — Если да, я их не оставлю в беде и пошлю им такую сумму, какую вы посчитаете необходимой.

— Мы не знаем, кто этот человек, сэр. Поэтому я и осмелился вас побеспокоить.

— Не знаете, кто он? — переспросил Дориан. — Что вы хотите этим сказать? Разве он не из ваших людей?

— Нет, сэр. Я его никогда раньше не видел. Похоже, это какой-то матрос, сэр.

Перо выпало из руки Дориана, и сердце у него замерло.

— Матрос? — переспросил он. — Вы говорите, матрос?

— Да, сэр. По всему видно. На обеих руках татуировка... ну, и все такое прочее...

— А при нем ничего не нашли? — Дориан подался вперед, ошеломленно глядя на егеря. — Например, какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?

— Нет, сэр. Только немного денег и шестизарядный револьвер — больше ничего. А имя нигде не указано. Человек, видимо, приличный, но из простых. Мы думаем, что он из матросов.

Дориан вскочил из-за стола. В нем проснулась безумная надежда, и он судорожно за нее ухватился.

— Где он? Я хочу его сейчас же увидеть.

— Он на ферме, сэр. В пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойников — говорят, мертвец приносит несчастье.

— На ферме? Сейчас же отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы привели мне лошадь... Или нет, не надо. Я сам пойду в конюшню. Так будет быстрее.

Не прошло и четверти часа, как Дориан Грей уже мчался галопом на ферму. Деревья призрачной чередой проносились мимо, и дорогу перебежали пугливые тени. Где-то на пол-пути кобыла неожиданно свернула в сторону, к какой-то белой ограде, и чуть не сбросила его на землю. Он хлестнул ее, и она понеслась дальше, так что камни летели из-под ее копыт.

Наконец Дориан доскакал до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с лошади и бросил поводья одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дориану, что покойник там. Он быстро подошел к двери и взялся за щеколду, но вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что сейчас ему предстоит сделать открытие, которое либо вернет ему покой, либо испортит жизнь навсегда. Наконец он рывком открыл дверь и вошел.

На мешках в дальнем углу конюшни лежал человек в грубой рубахе и синих штанах. Лицо его было накрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горела, потрескивая, толстая свеча, воткнутая в бутылку.

Дориан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духу своей рукой снять платок. Он позвал одного из работников.

— Снимите эту тряпку, я хочу его видеть, — сказал он и прислонился к дверному косяку для опоры.

Когда парень снял платок, Дориан подошел ближе и непроизвольно вскрикнул от радости: человек, убитый в лесу, оказался Джеймсом Вейном!

Несколько минут Дориан Грей не мог сдвинуться с места и оторвать глаз от покойника. Когда он ехал домой, в глазах его стояли слезы: теперь он спасен!

Глава XIX

— Зачем вы мне постоянно твердите, что решили стать лучше? — спросил лорд Генри, окуная белые пальцы в медную чашу с розовой водой. — Вы и так достаточно хороши. Пожалуйста, не меняйтесь.

Дориан покачал головой:

— Нет, Гарри, у меня на совести слишком много тяжких грехов. Я больше не хочу грешить. И буквально вчера начал творить добрые дела.

— И где же это вы вчера были?

— В деревне, Гарри. Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне.

— Дорогой друг, в деревне любой может стать праведником, — с улыбкой произнес лорд Генри. — Там нет никаких соблазнов. По этой-то причине людей, живущих за городом, не коснулась цивилизация. Да-да, приобщиться к цивилизации — дело весьма нелегкое. Для этого есть два пути: культура или так называемый разврат. А деревенским жителям и то, и другое недоступно. Вот они и закоснели в добродетели.

— Культура и разврат, — повторил Дориан. — Я приобщился и к тому, и другому, и теперь мне неприятно думать, что они, оказывается, могут сопутствовать друг другу. У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком. И чувствую, что уже переменился.

— Но вы ведь еще не рассказали мне, какое совершили доброе дело. Или, кажется, вы говорили даже о нескольких? — спросил лорд Генри, положив себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпая ее сахаром.

— Никому не стал бы рассказывать, а вам расскажу. Я пощадил женщину, Гарри. Такое заявление может показаться тщеславным хвастовством, но вы меня поймете. Она очень хороша собой и удивительно напоминает

Сибиллу Вейн. Должно быть, этим она и привлекла меня. Помните Сибиллу, Гарри? Каким далеким кажется то время!.. Так вот... Хетти, конечно, не из нашего круга. Простая деревенская девушка. Но я ее искренне полюбил. Да, я убежден, что это была настоящая любовь. Весь май — какой чудесный май был в этом году! — я ездил к ней два-три раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Цветы яблони падали ей на волосы, и она смеялась... Мы должны были уехать с ней сегодня на рассвете. И вдруг я решил оставить ее такой же прекрасной и чистой, какой встретил ее...

— Должно быть, новизна этого чувства доставила вам истинное удовольствие, Дориан? — перебил его лорд Генри. — А вашу идиллию я могу досказать за вас. Вы дали ей добрый совет и разбили ей сердце. Так вы начали свою праведную жизнь.

— Гарри, как вам не стыдно говорить такие вещи! Сердце Хетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое. Но зато она не обесчещена. Она может жить, как Пердита[88], в своем саду среди мяты и златоцвета.

— И плакать о неверном Флоризеле, — закончил лорд Генри, со смехом откидываясь на спинку стула. — Милый мой, как много еще в вас презабавной детской наивности! Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека ее среды? Ведь ее выдадут замуж за грубияна-возчика или крестьянского парня. Но знакомство с вами и любовь к вам уже успели сделать свое дело: она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, что ваше великое самоотречение явилось большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того, почему вы знаете, — может быть, ваша Хетти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренном звездным сиянием?

— Перестаньте, Гарри, это просто невыносимо! То вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии! Мне жаль, что я вам все это рассказал. Что бы вы ни говорили, я знаю, что поступил правильно. Бедная Хетти! Сегодня утром, когда я проезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее лицо, белое, как цветы жасмина... Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самоотверженный поступок — на самом деле чуть ли не преступление. Я хочу стать лучше. И стану... Но довольно об этом, лучше расскажите о себе. Что слышно в Лондоне? Как же давно я не был в клубе!

— Люди все еще толкуют об исчезновении Бэзила.

— А я думал, что им уже это наскучило, — проговорил Дориан, едва заметно нахмутив брови и наливая себе вина.

— Что вы! Об этом говорят всего только полтора месяца, а свету трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца, — на такое умственное усилие он не способен. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий — мой развод, самоубийство Алана Кемпбелла, а теперь еще загадочное исчезновение художника! В Скотланд-Ярде все еще думают, что человек в сером пальто, уехавший девятого ноября в Париж двенадцатичасовым поездом, и был бедняга Бэзил, а французская полиция утверждает, что Бэзил вовсе и не приезжал в Париж. Наверное, через неделю-другую мы услышим, что его видели в Сан-Франциско. Странное дело — как только кто-нибудь бесследно исчезает, тотчас же разносится слух, что его видели в Сан-Франциско! Замечательный город, должно быть, этот Сан-Франциско, и обладает, наверное, всеми преимуществами того света!

— А вы как думаете, Гарри, куда мог деваться Бэзил? — спросил Дориан, поднимая стакан с бургундским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым спросил об этом.

— Понятия не имею. Если Бэзилу угодно скрываться, — это его дело. Если он умер, я не хочу о нем вспоминать. Смерть — это единственное, о чем я думаю с ужасом. Она мне ненавистна.

— Почему? — лениво спросил младший из собеседников.

— А потому, — и лорд Генри поднес к носу позолоченный флакончик с уксусом, — что в наше время человек все может пережить, кроме смерти. Есть только два явления, которые и в нашем, девятнадцатом, веке все еще остаются необъяснимыми и ничем не оправданными: смерть и пошлость... Давайте перейдем в концертный зал и там выпьем кофе, — хорошо, Дориан? Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена. Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория! Я был к ней очень привязан, и без нее в доме так пусто. Разумеется, семейная жизнь — только привычка, скверная привычка. Но ведь даже с самыми дурными привычками трудно расставаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. Они — такая неотъемлемая частица нашего «я».

Дориан, ничего не ответив, встал из-за стола и, пройдя в соседнюю комнату, сел за рояль. Пальцы его забегали по черным и белым клавишам. Но когда подали кофе, он перестал играть и, глядя на лорда Генри,

спросил:

— Гарри, а вам не приходило в голову, что Бэзила могли убить?

Лорд Генри зевнул:

— Бэзил очень известен, и у него дешевые часы. Зачем же его убивать? И врагов у него нет, потому что он не был достаточно предусмотрительным, чтобы обзаводиться ими. Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать, как Веласкес, и при этом быть скучнейшим малым. Бэзил, честно говоря, всегда был скучноват. Только раз он меня заинтересовал — это было много лет назад, когда он признался мне, что безумно вас обожает и что вы вдохновляете его, даете ему стимул к творчеству.

— Я очень любил Бэзила, — с грустью сказал Дориан. — Значит, ни у кого не было предположений, что его могли убить?

— В некоторых газетах такие предположения высказывались. Но я в это не верю. В Париже, правда, есть весьма подозрительные места, но Бэзил не такой человек, чтобы там появляться. Он совсем не любознателен, это его главный недостаток.

— А что бы вы сказали, Гарри, если бы я признался вам, что это я убил Бэзила?

Говоря это, Дориан с пристальным вниманием наблюдал за выражением лица лорда Генри.

— Сказал бы, что вы, мой друг, пытаетесь выступить не в своей роли. Всякое преступление вульгарно, точно так же, как всякая вульгарность преступна. Вы, Дориан, не способны совершить убийство. Извините, если я таким утверждением задел ваше самолюбие, но, ей-Богу, я прав. Преступники — всегда люди из низших классов. И я их ничуть не осуждаю. Мне кажется, для них преступление — то же, что для нас искусство: просто-напросто средство, доставляющее сильные ощущения.

— Средство, доставляющее сильные ощущения? Значит, по-вашему, человек, раз совершивший убийство, способен сделать это опять? Полноте, Гарри!

— О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку, — улыбнулся лорд Генри. — Это один из главных секретов жизни. Впрочем, убийство — это всегда ошибка. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с друзьями после обеда... Ну, оставим в покое беднягу Бэзила. Хотелось бы верить, что конец его был романтичен, как вы предполагаете. Но мне не верится. Скорее всего, он свалился с омнибуса в Сену, а кондуктор скрыл это, дабы избежать неприятностей. Да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь, омываемый мутно-зелеными водами Сены, а над ним проплывают тяжелые баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли... Знаете, Дориан, вряд ли он мог еще многое создать в живописи. Его работы за последние десять лет стали значительно слабее.

Дориан в ответ только вздохнул, а лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить яванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке. Как только его пальцы коснулись спины этой крупной птицы с серыми крыльями и розовым хохолком и хвостом, она закрыла белыми сморщенными веками свои черные стеклянные глаза и стала раскачиваться.

— Да, — продолжал лорд Генри, повернувшись к Дориану и доставая из кармана платок, — картины Бэзила стали намного хуже. Чего-то в них не хватает. Видно, Бэзил утратил свой идеал. Пока вы с ним были дружны, он был великим художником. Потом вашей дружбе пришел конец. Из-за чего вы разошлись? Должно быть, он вам надоел? Если да, то Бэзил, вероятно, не мог простить вам этого — таковы уж все скучные люди. Кстати, что случилось с вашим чудесным портретом? Я, кажется, ни разу не видел его с тех пор, как Бэзил подарил его вам... А, припоминаю, вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби, и он не то затерялся по дороге, не то его украли. Неужели он так и не нашелся? Какая жалость! Это был настоящий шедевр. Помню, мне очень хотелось его купить. И жаль, что я этого не сделал. Портрет написан в то время, когда талант Бэзила был в полном расцвете. Более поздние его картины уже представляют собой ту любопытную смесь плохой работы и хороших намерений, которая у нас дает право художнику считаться типичным представителем английской школы... А вы давали в газетах объявления о пропаже? Это следовало бы сделать.

— Уже не помню, — ответил Дориан. — Вероятно, давал. Ну, да Бог с ним, с портретом! Он мне, в сущности, никогда не нравился, и я жалею, что позировал для него. Не люблю вспоминать о нем. К чему вы затеяли этот разговор? Знаете, Гарри, при взгляде на этот портрет мне всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы — кажется, из «Гамлета»... Пойдите, как же это?..

Бездушный тот лик...

Да, именно такое впечатление он на меня производил.

Лорд Генри засмеялся и, сев в кресло, сказал:

— Кто к жизни относится как художник, тому мозгом служит душа.

Дориан покачал головой и взял несколько тихих аккордов на рояле.

Словно образ печали

Бездушный тот лик... —

повторил он.

Лорд Генри, откинувшись на спинку кресла, наблюдал за ним из-под полуопущенных век.

— А между прочим, Дориан, — сказал он, помолчав, — какой смысл человеку приобретать весь мир, если он теряет... как там дальше? Да: если он теряет собственную душу?

Музыка резко оборвалась. Дориан, вздрогнув, внимательно посмотрел на своего друга.

— Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри?

— Дорогой мой, — лорд Генри удивленно поднял брови. — Я спросил, потому что надеялся получить ответ, — только и всего. В воскресенье я проходил через Гайд-парк, и там у Мраморной Арки кучка оборванцев слушала какого-то уличного проповедника. В то время как я проходил мимо, он как раз выкрикнул эту фразу, и меня вдруг поразила ее драматичность... В Лондоне можно очень часто наблюдать такие любопытные сценки... Вообразите — дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в макинтоше, кольцо бледных испитых лиц под неровной кровлей из зонтов, с которых стекает вода, — и эта потрясающая фраза, брошенная в воздух и прозвучавшая как пронзительный истерический вопль. Право, это было необыкновенно интересно и весьма внушительно. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее нет. Но побоялся, что он меня не поймет.

— Не говорите так, Гарри! Душа у человека есть, это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить, продать, променять. Ее можно отравить или спасти. У каждого из нас есть душа. Я это знаю.

— Вы совершенно в этом уверены, Дориан?

— Абсолютно.

— Ну, в таком случае вы верите в иллюзию. Как раз того, во что твердо веришь, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры, и этому же учит нас любовь. Боже, какой у вас серьезный и мрачный вид, Дориан! Полноте! Что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дориан! Сыграйте какой-нибудь ноктюрн и во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Вы, верно, знаете какой-нибудь секрет. Я старше вас только на десять лет, а посмотрите, как я изменился, сморщился, пожелтел! Вы же остаетесь неизменно очаровательным, Дориан. И сегодня более чем когда-либо. Глядя на вас, я вспоминаю день нашей первой встречи. Вы были очень застенчивый, но при этом довольно дерзкий и вообще замечательный юноша. С годами вы, конечно, переменялись, но внешне — ничуть. Хотел бы я узнать ваш секрет! Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать все на свете — только не заниматься гимнастикой, не вставать рано и не вести добродетельный образ жизни. Молодость! Что может с ней сравниться? Как это глупо — говорить о «неопытной и невежественной юности». Я с уважением слушаю суждения только тех, кто много меня моложе. Молодежь нас опередила, ей жизнь открывает свои самые свежие чудеса. А людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнение о чем-нибудь, что произошло только вчера, — и они с важностью преподнесут вам суждения, господствовавшие в тысяча восемьсот двадцатом году, когда мужчины носили длинные чулки, когда люди верили решительно во все, но решительно ничего не знали... Какую прелестную вещь вы играете! Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шопен писал ее на Майорке, когда море стонало вокруг его виллы и соленые брызги летели в окна. Какое счастье, что существует хоть один жанр искусства, который действительно неподражаем! Играйте, играйте же, Дориан, мне сегодня хочется музыки!.. Я буду воображать, что вы — юный Аполлон, а я — внимающий вам Марсий... [89] У меня есть свои горести, Дориан, о которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым... Я иногда сам поражаюсь

своей искренности. Ах, Дориан, какой вы счастливый! Как прекрасна ваша жизнь! Вы все изведали, всем упивались, вы смаковали сок виноградин, раздавливая их во рту. Жизнь ничего не утаила от вас. И все в ней вы воспринимали как музыку, поэтому она вас не испортила. Вы все тот же.

— Нет, Гарри, я уже не тот.

— А я говорю — тот. Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь! Только не портите ее отречениями. Сейчас вы — совершенство. Смотрите же, не станьте человеком неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. И, кроме того, не обманывайте себя, Дориан: жизнью управляют не ваша воля и стремления. Жизнь наша зависит от наших нервных волокон, от особенностей нашего организма, от медленно развивающихся клеток, где таятся мысли, где рождаются мечты и страсти. Допустим, вы воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничего не угрожает. А между тем случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навеявший смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилось вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли, — вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни, Дориан! Браунинг тоже где-то пишет об этом. И наши собственные чувства это подтверждают. Стоит мне, например, ощутить где-нибудь запах духов «Белая сирень», — и я вновь переживаю один из самых удивительных месяцев в моей жизни. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дориан! Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы — тот человек, которого наш век ищет... и боится, что нашел. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы переложили себя на музыку. Дни вашей жизни — это ваши сонеты.

Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам.

— Да, жизнь моя была чудесна, но так жить я больше не хочу, — сказал он тихо. — И я не хочу больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри! Вы не все обо мне знаете. Если бы знали, то даже вы, вероятно, отвернулись бы от меня. Смеетесь? Ох, не смейтесь, Гарри!

— Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая луна плывет в сумеречном небе — большая, желтая, как мед. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она приблизится к земле... Не хотите играть? Ну так пойдемте в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо закончить его так же хорошо. В клубе будет один молодой человек, который жаждет с вами познакомиться, — это лорд Пул, старший сын Борнмаута. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Премилый юноша и немного напоминает вас.

— Надеюсь, что нет, — сказал Дориан, и глаза его опечалились. — Я устал, Гарри, я не пойду в клуб. Скоро одиннадцать, и я хочу пораньше лечь спать.

— Не уходите, Дориан. Вы играли сегодня, как никогда. Ваша игра была как-то особенно выразительна.

— Это потому, что я решил исправиться, — с улыбкой промолвил Дориан. — И уже немного изменился к лучшему.

— Только ко мне не надо переменяться, Дориан! Мы с вами навсегда останемся друзьями.

— А ведь вы однажды отравили меня книгой, Гарри, — этого я вам никогда не прощу. Обещайте, что вы никому больше не дадите ее. Это вредная книга.

— Дорогой мой, да вы и в самом деле становитесь моралистом! Скоро вы, как всякий новообращенный, будете ходить и увещевать людей не совершать всех тех грехов, которыми вы пресытились. Нет, для этой роли вы слишком хороши! Да и бесполезно это. Какие мы были, такими и останемся. А «отравить» вас книгой я никак не мог. Такого не бывает. Искусство не влияет на действия человека, — напротив, оно парализует желание действовать. Оно совершенно нейтрально. Так называемые «безнравственные» книги — это лишь те книги, которые показывают миру его пороки, вот и все. Но давайте не будем сейчас затевать спор о литературе! Приходите ко мне завтра, Дориан. В одиннадцать я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к леди Брэнксом. Эта милая женщина хочет посоветоваться с вами насчет гобеленов, которые она собирается купить. Так смотрите же, я вас жду!.. А не поехать ли нам завтракать к нашей маленькой герцогине? Она сетует, что вы совсем перестали у нее бывать. Быть может, Глэдис уже вам наскучила? Я это предвидел. Ее остроумие действует на нервы. Во всяком случае, приходите к одиннадцати.

— Вы непременно этого хотите, Гарри?

— Конечно. Парк сейчас чудо как хорошо! Сирень там цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас.

— Хорошо, я приду. Спокойной ночи, Гарри.

Дойдя до двери, Дориан остановился, словно хотел сказать что-то еще. Но только вздохнул и вышел из комнаты.

Глава XX

Стоял прекрасный вечер, такой теплый, что Дориан шел налегке, перебросив плащ через руку. Он даже не стал надевать свой шелковый шарф. Закурив папиросу, он не торопясь шел по улице, направляясь домой, как вдруг его обогнали двое молодых людей во фраках, и он услышал, как один из них громко прошептал другому: «Смотри, это Дориан Грей». И он вспомнил, как ему раньше бывало приятно, когда на него показывали пальцем, пялились на него, говорили о нем. А теперь? Ему надоело постоянно слышать свое имя. И главная прелесть жизни в деревне, куда он в последнее время так часто ездил, была именно в том, что там его никто не знал. Девушке, которая его полюбила, он говорил, что он бедняк, и она ему верила. Однажды он ей сказал, что в прошлом вел развратную жизнь, а она засмеялась и возразила, что развратные люди всегда бывают старые и безобразные. Какой у нее смех — совсем как пение дрозда! И как она прелестна в своем ситцевом платье и широкополой шляпе! Она, простая, невежественная девушка, обладает всем тем, что он утратил.

Придя домой, Дориан отослал спать камердинера, который не ложился, дожидаясь его. Потом прошел в библиотеку и лег на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри.

Неужели правда, что человек при всем желании не может измениться? Дориан испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности, «бело-розовой юности», как назвал ее однажды лорд Генри. Он сознавал, что загрязнил ее, растлил свою душу, дал отвратительную пищу воображению, что его влияние было губительно для других, и это когда-то доставляло ему жестокое удовольствие. Из всех жизней, скрестившихся с его собственной, его жизнь была самая чистая и так много обещала — а он запятнал ее. Но неужели все это непоправимо? Неужели для него нет надежды?

О, зачем в роковую минуту гордыни и мутных страстей он молил небеса, чтобы портрет нес бремя его дней, а сам он сохранил неприкосновенным весь блеск вечной молодости! В ту минуту он погубил свою жизнь. Лучше было бы, если бы всякое прегрешение влекло за собой верное и скорое наказание. В возмездии — очищение. Не «Прости нам грехи наши», а «Покарай нас за беззакония наши» — вот какой должна быть молитва человека Господу Богу.

На столе стояло зеркало, подаренное Дориану много лет назад лордом Генри, и белорукие купидоны по-прежнему резвились на его раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки, — совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете, — и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами: «Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Эти идолопоклоннические слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала ненавистна собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком, и оно рассыпалось серебряными осколками. Это красота погубила его, красота и вечная молодость, вымоленная им для себя! Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость — насмешкой. Что такое, в лучшем случае, молодость? Время незрелости, наивности, время поверхностных впечатлений и нездоровых помыслов. Зачем ему было носить ее наряд? Что ж, молодость его погубила.

Лучше не думать о прошлом. Ведь ничего теперь не изменишь. Надо думать о будущем. Джеймс Вейн лежит в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан Кемпбелл застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении Бэзила Холлуорда скоро прекратятся, волнение уляжется — оно уже и так идет на убыль. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть Бэзила Холлуорда мучила и угнетала Дориана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. Бэзил написал портрет, который испортил ему жизнь, — и Дориан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет! Кроме того, Бэзил наговорил ему недопустимых вещей — и он стерпел это... А убийство? Убийство он совершил в минуту безумия. Алан Кемпбелл? Что из того, что Алан покончил с собой? Это его личное дело, такова была его воля. При чем же здесь он, Дориан?

Новая жизнь! Жизнь, начатая сначала, — вот чего хотел Дориан, вот к чему стремился. И уверял себя, что она уже началась. Во всяком случае, он пощадил невинную девушку. И никогда больше не будет соблазнять

невинных. Он будет жить честно.

Вспомнив о Хетти Мертон, он подумал: а пожалуй, портрет в запертой комнате уже изменился к лучшему? Да-да, наверняка, он уже не так страшен, как был. И если жизнь его, Дориана, станет чистой, то, быть может, всякий след пороков и страстей изгладится с лица на портрете? А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли? Надо пойти взглянуть.

Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком, и этот отвратительный портрет, который приходится прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души наконец свалилась страшная тяжесть.

Он вошел в комнату, запер за собой дверь, как это делал всегда, и сорвал с портрета пурпурное покрывало. Крик возмущения и боли вырвался у него. Никакой перемены! Только в выражении глаз было теперь что-то хитрое, да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен, отвратительнее прежнего, и красная влага на его руке казалась еще ярче, еще более была похожа на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело? Или жажда новых ощущений, как с ироническим смехом намекнул лорд Генри? Или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки благороднее нас самих? Или же все это вместе взятое? Но почему кровавое пятно стало еще больше? Оно расплзлось по морщинистым пальцам, распространилось подобно какой-то страшной болезни... Кровь была и на ногах портрета — не капала ли она с руки? Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа, убившего Бэзила. Что же делать? Значит, ему следует сознаться в убийстве? Сознаться? Отдаться в руки полиции, пойти на смерть?

Дориан рассмеялся. Какая дикая мысль! Да если он и сознается, кто ему поверит? Нигде не осталось следов, все вещи убитого уничтожены, — он, Дориан, собственноручно сжег все, что оставалось внизу, в библиотеке. Люди решат, что он сошел с ума. И, если он будет упорно обвинять себя, его запрут в сумасшедший дом... Но ведь долг велит сознаться, покаяться перед всеми, понести публичное наказание, публичный позор. Есть Бог, и Он требует, чтобы человек исповедался в грехах своих перед небом и землей. И ничто не очистит его, Дориана, пока он не сознается в своем преступлении... Преступлении? Он пожал плечами. Смерть Бэзила Холлуорда утратила в его глазах всякое значение. Он думал о Хетти Мертон. Нет, этот портрет, это зеркало его души, лжет! Самолюбование? Любопытство? Лицемерие? Неужели ничего, кроме этих чувств, не было в его самоотречении? Неправда, было нечто большее! По крайней мере, так ему казалось. Но кто знает?..

Нет, ничего другого не было. Он пощадил Хетти только из тщеславия. В своем лицемерии надел маску добродетели. Из любопытства попробовал поступить самоотверженно. Сейчас он это ясно сознавал.

А это убийство? Что же, оно так и будет преследовать его всю жизнь? Неужели прошлое будет вечно довлеть над ним? Может быть, и в самом деле сознаться?.. Нет, ни за что! Против него есть только одна-единственная — и то слабая — улика: портрет. Так надо уничтожить его! И зачем было так долго его хранить? Прежде ему нравилось наблюдать, как портрет старится и дурнеет вместо него, но в последнее время он и этого удовольствия не испытывает. Портрет не дает ему спокойно спать по ночам. И, уезжая из Лондона, он все время боится, как бы в его отсутствие чужой глаз не подсмотрел его тайну. Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, омрачила меланхолией даже его страсти. Портрет этот — как бы его совесть. Да, совесть. И надо его уничтожить.

Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Бэзила Холлуорда. Он не раз чистил этот нож, и на нем не осталось ни пятнышка, он так и сверкал. Этот нож убил художника — так пусть же он сейчас убьет и его творение, и все, что с ним связано. Он убьет прошлое, и, когда прошлое умрет, Дориан Грей будет свободен! Он покончит с этой противоестественной жизнью души в портрете, и когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой.

Дориан схватил нож и вонзил его в портрет.

Раздался громкий крик и стук от падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки был так ужасен, что проснувшиеся слуги в испуге выбежали из своих комнат. А два джентльмена, проходившие внизу мимо дома, остановились и посмотрели на верхние окна, откуда донесся крик. Потом пошли искать полисмена и, найдя его, привели к дому. Полисмен несколько раз позвонил, но на звонок никто не вышел. Во всем доме было темно, светилось только одно окно наверху. Немного подождав, полисмен отошел от двери и занял наблюдательный пост на соседнем крыльце.

— Чей это дом, констебль? — спросил старший из двух джентльменов.

— Мистера Дориана Грея, сэр, — ответил полицейский.

Джентльмены переглянулись, презрительно усмехнулись и пошли дальше. Один из них был дядя сэра Генри Эштона. А в доме, на той половине, где спала прислуга, полуодетые люди тревожно шептались между собой. Старая миссис Лиф плакала заламывая руки. Фрэнсис был бледен как смерть.

Прождав минут пятнадцать, он позвал кучера и одного из слуг, и они втроем на цыпочках отправились вверх. Постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дориана. Но наверху все было безмолвно. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались, — задвижки были старые.

Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по перстням на руках слугам удалось узнать Дориана Грея.

Примечания

1

Калибан — получеловек, полуживотное в пьесе Шекспира «Буря». (Здесь и далее примечания переводчика).

2

Гроувенор — частная картинная галерея в Лондоне.

3

Имеется в виду принятый в Англии порядок наследования, согласно которому наследство достается старшему сыну.

4

Венецианцы — представители венецианской школы живописи (XV—XVIII вв.).

5

Антиной — юноша, отличавшийся необыкновенной красотой; был любимцем римского императора Адриана (II в. н. э.).

6

Ист-Энд — рабочий район Лондона к востоку от Сити.

7

Уайтчепел — беднейший район Ист-Энда.

8

Олбани — фешенебельный многоквартирный дом на улице Пиккадилли в Лондоне, построенный в 1770 г. и названный так по имени герцога Олбани, который занимал его с 1791 г.; с 1803 г. дом стал сдаваться отдельными квартирами; в нем жили такие известные личности, как Байрон, Гладстон и другие.

9

Изабелла — испанская королева Изабелла II (1830—1904), правившая с 1833 г.; в 1868 г. в результате революции была свергнута с престола.

10

Прим — испанский политический деятель Хуан Прим (1814—1870), несколько раз пытавшийся поднять восстание против Изабеллы II; после революции, с 1869 по 1870 гг., был премьер-министром Испании.

11

Синяя книга — справочник, названный так по цвету обложки и содержащий сведения о лицах, занимающих высокие государственные должности, а также о представителях английской аристократии, писателях, ученых, бизнесменах и пр.

12

Спа — курортный городок в провинции Льеж в Бельгии.

13

Баркли-сквер — живописная площадь в одном из самых аристократических районов Лондона; название стало в Англии одним из символов принадлежности к аристократии тех, кто в этом районе живет.

По учению древнегреческого философа Платона (427—347 до н. э.), окружающие нас вещи — лишь тени реально существующих вечных идей, или «образцов», познать которые возможно лишь с помощью чистой любви и стремления к высшему благу.

Буонаротти — Микельанджело Буонаротти (1475—1864), гениальный итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения, автор сонетов, в которых звучали мотивы одиночества и любви как извечного стремления человека к красоте и гармонии.

Сухие товары — так в США называют мануфактуру, ткани, одежду, галантерею и некоторые другие товары.

Вакханка — в античной мифологии, жрица Вакха (Диониса), бога вина и экстаза.

Силен — согласно древнегреческой мифологии, лесное божество, воспитатель и спутник Диониса или Бахуса (Вакха); изображался в виде подвыпившего лысого старца с мехом вина в руках. Уайльд говорит о его трезвости иронически, давая понять, что вакханка была еще более опьяненной.

Омар Хайям (1048—1122) — знаменитый персидский поэт и мыслитель, в своих четверостишиях прославлявший любовь к жизни, простые земные радости, певший гимны вину и обильным возлияниям.

Комнаты Уиллиса — на Кинг-стрит, 26 до 1890 г. сдавались помещения для устройства балов и проведения различных собраний.

Атенеум — название лондонского клуба, основанного в 1824 г. по инициативе Вальтера Скотта для интеллектуальной элиты — писателей, художников, ученых, общественных и политических деятелей и т. д.

22

Имеется в виду Гайд-парк.

23

Мейфэр — фешенебельный район лондонского Уэст-Энда.

24

Клодион (Клод-Мишель) (1738—1814) — французский скульптор, известный своими изящными терракотовыми статуэтками в стиле рококо.

25

«Сто новелл» (фр.).

26

Маргарита Валуа (1492—1549) — королева Наваррская, известная также как писательница, автор сборника «Гептамерон», или «Сто новелл».

27

Кловис Эв (ум. 1634) — парижский книготорговец и королевский переплетчик, однако скорее всего речь идет о его отце Николасе Эве (ум. 1581), дело которого унаследовал Кловис.

28

«Манон Леско» — роман аббата Антуана-Франсуа де Прево (1697—1763).

29

«Лоэнгрин» — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883), написанная на сюжет

средневековой легенды.

30

Уорддор-стрит — улица в Лондоне, известная в прошлом своими антикварными магазинами.

31

Румяна (фр.).

32

Остроумие (фр.).

33

То есть в направлении беднейшего района Лондона — Ист-Энда («Ист-Энд» в переводе с английского — «Восточная оконечность»).

34

Сильная страсть, великая любовь (фр.).

35

Старики никогда не бывают правы (фр.).

36

Розалинда — героиня комедии Шекспира «Как вам это понравится».

37

Имоджена — героиня трагикомедии Шекспира «Цимбелин».

38

То есть видел ее в роли Джульетты в «Ромео и Джульетте». Поцеловав принявшего яд Ромео, она закалывает себя.

39

То есть в роли Розалинды в «Как вам это понравится».

40

Имеется в виду Офелия в трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский». На самом деле, в пьесе Офелия дает руту и разные травы не королю, а Лаэрту.

41

То есть в роли Дездемоны в «Отелло» Шекспира.

42

Леди Капулетти — мать Джульетты в пьесе «Ромео и Джульетта».

43

Мессалина (I в. до н. э.) — третья жена римского императора Клавдия, известная своим распутством и жестокостью.

44

Танагрская статуэтка — небольшая терракотовая статуэтка; такие статуэтки были найдены в греческом городе Танагра, относятся они к IV—III вв. до н. э.

45

Миранда — персонаж в пьесе Шекспира «Буря».

46

Здесь и далее — перевод Бориса Пастернака.

47

Порция — героиня пьесы Шекспира «Венецианский купец».

48

Беатриче — героиня пьесы Шекспира «Много шума из ничего».

49

Корделия — героиня трагедии Шекспира «Король Лир».

50

Ковент-Гарден — в прошлом лондонский оптовый рынок фруктов, овощей и цветов. Так же называется расположенный неподалеку Королевский оперный театр.

51

Пьяцца — открытый коридор в северо-восточной части ковент-гарденского рынка.

52

Патти — Аделина Патти (1843—1919), знаменитая итальянская певица, блестящая исполнительница партий колоратурного сопрано.

53

Маки традиционно считаются символом забвения.

54

Асфодель — согласно древнегреческой мифологии, цветы, приносящие успокоение мертвым; отсюда переносное значение этой фразы: «Я окончательно предал свой роман забвению».

55

Джон Вебстер (ок. 1580 — ок. 1625), Джон Форд (1586 — ок. 1640), Сирил Тернер (ок. 1575 — 1626) — английские драматурги, младшие современники Шекспира, писавшие в жанре «кровавой трагедии».

56

Брабанцио — отец Дездемоны в трагедии Шекспира «Отелло».

57

«Глоб» — английская вечерняя газета, основанная в 1803 г.

58

Теофил Готье (1811—1872) — французский писатель, проповедовавший теорию «искусства для искусства».

59

Утешение в искусстве (фр.).

60

Марлоу — город на Темзе, излюбленное место рыболовов и любителей водного спорта.

61

Иоганн Иоахим Винкельман (1717—1768) — немецкий археолог и историк античного искусства.

62

Пэлл-Мэлл — улица в центре Лондона, где сосредоточены аристократические клубы.

63

Автором романа «Сатирикон», рисующего разложение римского общества эпохи Нерона, считается Гай Петроний (I в. н. э.).

64

Законодатель мод (лат.).

65

Альфонсо де Овалле (1601—1651) — испанский историк-иезуит, живший в Южной Америке.

66

Куско — город в Перу; был столицей империи инков (XI в. и позже).

67

Фернандо Кортес (1485—1547) — испанский завоеватель Мексики.

68

«Наставления для клириков» (лат.).

69

Имеется в виду Александр Великий, или Македонский, он же «владыка Эматии».

70

Эматия — древнее название Македонии.

71

Сударыня, я очень счастлив (фр.).

72

Карлтон-Хаус — дворец в Лондоне, резиденция Георга IV в его бытность принцем-регентом.

73

Элефантида — греческая писательница-гетера (I в. до н. э.), автор эротических произведений.

74

Чезаре Борджиа (1476—1507) — один из членов семейства Борджиа, известного своими кровавыми преступлениями; ему приписывается убийство его старшего брата Джованни.

75

Дадли — частная картинная галерея в Лондоне, принадлежавшая лорду Дадли.

76

Перевод Н. Гумилева.

77

Рубинштейн — Антон Рубинштейн (1829—1894), русский пианист, дирижер и композитор.

78

То есть готова была бы совершить любые безрассудства (английская поговорка).

79

Хомбург — курортный город с минеральными источниками в Германии, недалеко от Франкфурга-на-Майне.

80

Слишком большое рвение (фр.).

81

Слишком большая смелость (фр.).

82

Конец века (фр.).

83

Конец света (фр.).

84

Джон Дебретт (ум. 1822) — лондонский издатель, выпускавший справочные издания об английских аристократических семействах.

85

Называть лопату лопатой — устойчивое английское выражение, означающее «называть вещи своими именами».

86

Тартюф — персонаж одноименной комедии Мольера, ставший символом религиозного ханжества и лицемерия.

87

По преданию, парфяне прибегали во время сражений к военной хитрости: симулируя бегство, поражали стрелами преследующего их врага.

88

Пердита и, далее, Флоризель — персонажи пьесы Шекспира «Зимняя сказка».

89

Марсий — в греческой мифологии один из силенов, спутников бога Диониса.